



Михаил Попов

Михаил Михайлович Попов (1957) – прозаик, поэт, публицист, критик. Окончил сельхозтехникум, служил в армии. Окончил Литературный институт, ныне руководит здесь творческим семинаром. Автор четырех сборников стихотворений, многих книг прозы и сценариев двух полнометражных фильмов – «Арифметика убийства» и «Гаджо». Лауреат многих литературных премий.

Прямая речь: «Я сирота, но я не знал об этом. Вернее, я не чувствовал, что с моей семьей что-то не так. Хотя вся моя семья – это всего лишь два человека, моя мать и я. Но ни разу в свой адрес я не слышал обидного определения – безотцовщина. Моя мать заменяла мне отца.

Я был за нею как за каменной стеной.

И уже достигнув зрелого возраста, я вдруг решил разобраться в том, что это был за камень.

Дело совсем не в простой благодарности. Все было значительно серьезнее и сложнее. Это ведь не так легко все время пребывать под мощной опекой и могущественной защитой. Хочется свободы. Если вспоминать честно, временами был просто в состоянии войны со своей родительницей. Достаточно привести такой факт: мама работала преподавательницей иностранных языков, и в частности в том техникуме, в котором учился я. Так вот, я до такой степени был одержим своей тайной к ней неприязню, что возненавидел и предмет, преподаваемый ею. То есть английский язык.

Ничего до сих пор не могу с собой поделать, он и до сих пор для меня окрашен в тона той мучительной конфронтации, и если я и говорю по-английски (кое-как, если честно) то через силу.

Или, например, политика. Как трудны были разговоры в нашей маленькой семье в период той самой Перестройки. Она с самого начала отнеслась к Горбачеву и тому, что он затеял в стране с туповатой, как мне казалось, подозрительностью. Я-то был увлечен, я был молод. И вот теперь вижу насколько смешным выглядит мой энтузиазм на фоне ее “косности”.

Впрочем, обо всём этом много в тексте самой повести, и всё это можно будет прочитать.

Не всегда, конечно, мы с нею “враждовали”.

Сто лет взаимонепонимания.

Одно время мне было наплевать на то, что у меня нет общего языка с моей матерью.

Потом я об этом жалел, но не настолько сильно, чтобы попытаться что-то изменить.

Позже появилось чувство превосходства, как же: я стал публиковаться, и это мне казалось доказательством того, что я могу не брать в расчет мнения своей старушки-матери.

Потом она умерла.

Тоска пришла через год.

Становилась сильнее.

Она была не постоянная, но временами сильная.

И чувство вины.

Чем ее загладить, эту вину.

И вот я решил просто все честно написать.

Написать все, что знаю, стараясь по возможности мало выдумывать. В результате появилась эта повесть.

Стало легче?

Не думаю, стало по-другому

* * *

Сам я не очень люблю читать повести, предпочитаю или рассказы, или романы. Но что делать если из под твоего пера выходит нечто такое, что кроме как повестью не назовешь.

Повесть о моей матери, но ни в коем случае не документальная. В тексте этого довольно небольшого произведения хватает выдумки. Я давал её прочесть некоторым из своих друзей и просил их указать, какие куски и места кажутся им наиболее искусственными, а какие они считают точно взятыми из жизни. И что бы вы думали, почти все указали на полностью придуманные эпизоды, как на те, что дышат подлинностью.

Мне очень нравится высказывание одного афганского поэта, в переводе оно звучит так:

Никогда не надо врать,
Надо правду сочинять.

Вообще, это мое глубочайшее убеждение, что подлинную, глубочайшую правду можно только сочинить, создать, и в этом одна из великих тайн литературы. Сейчас на дворе времена, когда литература широкого вымысла потеснена сочинениями нон-фикшн, но я уверен: это не навсегда».

ИДЕЯ

Мне пришла в голову хорошая идея. Вместо того, чтобы в очередной раз давать слово, лезть с подлыми сыновними поцелуями, цель которых перевести мать из состояния тихой, скорбной обиды, в состояние не менее скорбной покорности судьбе, я решил сделать доброе дело. Мама пару раз тихонько, себе под нос, жаловалась, что зимняя обувь ее – растоптанные валенки на резине, под названием «прощай, молодость», стали совсем уж никуда не годны. Ноги промокают. Старые диабетические мамины ноги. В ближайшем обувном ничего подходящего нет, а отъезжать далеко от дома она одна боится. С похмелья я особенно как-то чувствителен, бодро всхлипнул, и вместо того, чтобы бежать за пивом, вошел в соседнюю комнату и объявил, что мы прямо

сейчас идем на рынок.

Она стояла у окна и разбиралась в каких-то жэковских бумажках. Обернувшись, сняла очки, и в нарушение навверняка данного себе обещания не разговаривать с пьяницей сыном хотя бы до обеда, спросила:

– Зачем?

Я, гордясь собой, и принятым решением, объявил зачем.

Убегавшая на работу жена, удивилась не меньше матери, но выразила полнейшее одобрение. Деньги там, «ты знаешь» в шкафу, «должно хватить».

Поездка была не дальняя, но получилась длительной. Пока шли до остановки троллейбуса по улице имени сердобольного писателя Короленко, я уже в полной мере ощутил, что именно мне предстоит. И не думал, что старики ходят так медленно, особенно это чувствовалось на фоне моего состояния. Я вел свою старушку как ребенка за руку, принужденный нависать над нею из-за огромной разнице в росте. Меня и тошнило, и морозило, и душа подвывала. Гордости за принятое человеческое решение хватило не надолго. Троллейбус, трудная, с оскальзыванием в слякоти и снежной жиже, со страшным кряхтением погрузка. Душные недра транспорта, пара наплывов полуобморока. Наконец, вот она остановка. Жуткая трамвайная развязка, с разбитыми, опасными для старых ног колеями, лужи меж серыми, подтаявшими снеговыми завалами, со всех сторон сопящие рыла злых машин. Сборный, вещево-пищевой рынок у метро, мостящийся на нечистом пятачке горбатого и дырявого асфальта меж домами. Толчея как в троллейбусе, среди которой надо не просто перемещаться, но и что-то выбирать, примерять. Мама растерялась от гама наваливающихся со всех сторон предложений. Вертела в бледных, как-то особенно неловких пальцах обувку взятую с прилавка наугад. «Давай, примерим, мать!» Напористо предлагал небритый кавказец, вызывая что-то вроде ревности своей притворной ласковостью. Какая она тебе мать! Она мне мать! Незнакомо, и как мне казалось, чрезмерно сопя, она наклонялась, опираясь на мою нервную руку. Стаскивала мокрый бот с ноги вместе с чулком. Ни первые, ни вторые сапоги не подошли, третьи и четвертые тоже, то колодка не та, то подъем крутой, то еще что-нибудь. «Ну, давай, еще что-нибудь посмотрим!», предлагал я ледяным тоном. Она уже смотрела на меня виновато, вот такая я, мол, некондиционная. Я знал, что если настою, то она согласится на любые сапоги, лишь бы меня не злить, и от этого мне становилось еще тошнее. К тому же, я прекрасно помнил, какой я «некондиционный» покупатель, мне, да еще на рынке, да еще под соответствующий щебет, можно всучить любую дрянь. Иногда хочется просто поскорее заплатить и сбежать; и всегдашнее это иррациональное чувство неудобства перед продавцом, что не оправдываешь его ожидания, не даешь себя обмануть быстро и легко, самое советское из чувств. В какой-то момент я ощутил, что незаметно перешел на сторону торговцев, и мамино нежелание соглашаться с тем, что ей ну никак не годилось, стало казаться мне капризностью.

– Ну, что тут еще не так?

– Видишь, вот пятка, не проходит сынок, никак.

– А ты с ложкой, дайте ложку. Есть ложка?

Она обреченно топтала картонку брошенную прямо на мокрый, в окурках асфальт, а у меня вертелось в голове неуместное – хороша ложка к обеду.

– Никак, сынок, никак.

– Попробуй сильнее, давай, я.

Я дёрнул, сапог за хлявну, он натянулся на ногу. Мама оперлась на подошву. С ужасом глянула на меня. Прошептала почти не слышимо.

– Нет, я не смогу так ходить.

Я по-лошадиному вывернул шею, шипя, «ну, я не знаю».

– Пойдем домой. – Пробормотала мама, признавая, что я и так сделал слишком много, что вина моего вчерашнего незапланированного пьянства перекрыта, этим пусть и неудачным усилием. Я понимал, что уйти можно, но, вместе с тем, понимал и то, что уйти никак нельзя, и от этого у меня внутри все кипело и дрожало. Я боялся смотреть в мамину сторону, боялся, что она все это прочтет у меня в глазах.

Женщина, помогавшая маме снять не подошедший сапог, поинтересовалась у нее, кто же это я такой, неужели сын?

– Сын, – сказала мама, и азербайджанка начала причитать: какой хороший мальчик, сам с мамой на рынок пришел, сам покупает, ай какой сын, счастливая та мать, у которой такие почтительные дети. Я посмотрел на маму, глаза у нее блестели, только следствием чего была эта влага, гордости, или отчаяния. И ту во мне что-то крутнулось. Да, в тон, торговке зарычал я с неожиданным облегчением и приятно крепнущей наглостью, куда-то пропало ощущение тупика. Да, вот пришел сын с матерью, и хочет ей сапоги spravить, а ничегоничегошеньки на целом рынке, таком замечательном, превосходном рынке найти не может.

– Как не может, почему нет? – Пел уже какой-то сочный, усатый акцент за углом палатки, и перед глазами явилась коробка с парой отличных полусапожек, с невысоким, как и надо каблучком, из мягкой, уж точно натуральной кожи, с меховой опушкой.

– Перемерьте, мадам, – сказал обладатель уютного торгового голоса.

Мы «перемерили».

– Отлично, прям по ноге, – прошептала мама.

– Нет, – настаивал я, опьяневший от внезапной податливости реальности, – ты наступи-наступи на подошву. Берем товар, надо, как следует все проверить, надо... – Я не знал, как закончить, голос мой, Слава Богу, потонул в гуле голосов собравшихся к нашей картонке торговцев.

Сапожки обошлись, конечно, значительно дороже, чем я рассчитывал, но все равно был горд. А потрясенные причитания мамы на обратном пути, «такие ботиночки, такой старухе», совершенно примиряли меня с мыслью о том, что пива сегодня не будет.

Это была не то поздняя зима, не то ранняя весна; в год не сразу после расстрела Белого дома, и не непосредственно перед дефолтом. Как бы там ни было, поносить эти замечательные сапожки моей маме Идее Алексеевне, так и не пришлось. Сразу после нашего похода на промозглый рынок, она слегла с

простудой, а когда выздоровела и смогла выходить из дому, то на дворе стоял сухой, и небывало теплый апрель, и зимняя обувь выглядела неуместно. Мама, нежно протирая две новенькие кожаные статуэтки, прежде чем убрать их в шкаф на хранение, сказала.

– Эх, мне бы тогда такие.

– Когда, тогда? – поинтересовалась Лена, моя жена.

Мама смутилась и махнула рукой, мол, ерунда, с языка сорвалось.

До новых холодов Идея Алексеевна не дожила.

Откуда такое имя, конечно же хочется спросить. Объясняется все очень просто. Родилась она в 1924 году и получила при крещении нормальное крестьянское имя Аг-рафена, но вскоре отец ее, мой дед, вышел в партийные начальники средней руки, и в порыве идейного энтузиазма переименовал все свое потомство в революционном духе. Старшие мамыны сестры Мария и Варвара стали зваться Тракторина и Даздраперма, то есть Да, здравствует Первомай! Первая вскоре после обретения нового имени скончалась, а вторая под именем тетя Дуси прожила долгую тихую, деревенскую, семейную жизнь в селе Приколотном, где-то среди украинских подсолнухов, и тыков. Помню ее регулярные посылки с семечками и обещаниями приехать. Умерла она лишь в год предшествовавший описываемому.

Мама прожила совсем другую жизнь, бурную, безмужную, разъездную, то, падая чуть ли не на уровень дочери врага народа, то, взбираясь на вершину университетского образования. И судьба ее имени прочерчена рядом с линией судьбы, и тут есть несколько замечательных пересечений.

Кстати, заикаясь на тот счет, что поздно попали к ней знатные сапожки, она имел в виду конкретный эпизод. Написали сразу после освобождения Чугуева от немцев, на мою маму донос. Во время войны она носила «пару раз» по ночам через Донец какие-то листовки в партизанский отряд, зато днем вела жизнь по отношению к оккупационному режиму выражено лояльную. Учила немецкий язык, и не стала скрывать этого во время оккупации и выучила очень хорошо. Хвасталась, что в ее произношении опознают «берлинский диалект». Отсюда сигнал в органы. А командир подполья погиб, и подтвердить ночную честность комсомолки Идеи Шевяковой, было некому. Из харьковской тюрьмы погнали её этапом в Казань по весенней распутице, а на ногах лишь старенькие, стоптанные, промокающие «бурки». Ночевали в каких-то овинах, разрушенных коровниках, намокший войлок примерзал вместе с носками к коже... В Казани же, не сразу, но обнаружили документы вроде бы опровергающие донос. Но репрессивная машина все равно могла бы по инерции захватить её в свои жернова, если бы не следователь. Усталый, («сильно курил, мне дал папиросу») дядька, видимо просто пожалел молодую деваху, и, собственно, под свою ответственность, закрыл дело и отпустил домой. «А ты, сынок, говоришь, что ТАМ все были сволочи. Не-ет, разобрались. Разобрались и извинились». Это из нашего спора конца восьмидесятых. Демократический «Огонек» гуляет по умам. Вокруг всеобщие коллективные поиски стукачей, и массовые агрессивные исповеди сидельцев. Конквест, «Архипелаг ГУЛАГ» и т. п. Помнится, мне было даже немного неудобно за маму – вроде бы и жертва

режима, но какая-то неполноценная, всего семь месяцев заключения.

Глядя впоследствии по телевизору репортажи из перестроечных тюрем и колоний, на царящие там антисанитарию, беспредел и пр., она любила рассказывать про чистоту, царившую в казанском застенке, «всё в карболке»; про справедливый тамошний порядок, когда каждый получал положенное, и если к куску черняшки полагался довесок, то его прикалывали чисто очиненной палочкой. Я, конечно же, бубнил свое, что да, чисто очиненная палочка была, но и были миллионы и миллионы безвинных жертв. Мама спорить со мной не пыталась, уходила к себе в комнату унося с собой свое мнение. Может даже и не противоположное шумному моему, а особое. Это меня злило, и я начинал кричать громче, вываливал горы кроваво дымящихся фактов – Кронштадское восстание, Антоновское восстание, коллективизация, заградотряды, Беломорканал... Идея Алексеевна тихонько вздыхала: «Да, «беломор» я курила», а то больше помалкивала, наливала себе чайку в огромную красную чашку в белый горошек и шаркала в свою комнату. Лучше бы она находилась явно по ту сторону идейной баррикады, горланила бы сталинские песни на демонстрациях КПРФ как развязные старушки-веселушки, которых иронически демонстрировал киселевский канал.

Забавно, но иной раз темы для своих пропагандистских нападок я черпал в журнале «Огонек», подписку на который мама получила как секретарь парткома жэковской ветеранской парторганизации. Она была моложе и энергичнее отставных генералов и заплесневелых актрис, что проживали в окрестных домах. Она смогла обеспечить регулярное проведение партсобраний и сбор взносов, выступала в школах, объясняя линию партии в искривленной реальности. Ее предшественник, отставной полковник МВД Арсений Васильевич Ногин не мог на нее нарадоваться, регулярно названивал из санатория, из госпиталя. Мама произносила его фамилию непременно с ударением на первом слоге.

Где-то в начале девяностых, одна из маминых подружек, с которой они часами обсуждали почерпнутый из телевизора «текущий момент», хвалили Гдляна, но отказывались понимать Сахарова, посоветовала ей обратиться в «Мемориал», как жертве репрессий. Она утверждала, что доказанным жертвам положены льготы и блага. Это был самый нищий год, кажется, 92-ой, и я, и Ленка сидели без работы. Временами, даже с едой было трудновато. Поколебавшись, Идея Алексеевна отправила запрос в архив Харьковского КГБ. Представляю, вернее, не представляю, чего ей это стоило. Всю свою взрослую жизнь, она панически скрывала не только факт ареста, но даже то, что была на оккупированной территории. Раз пять всякие парткомиссии заворачивали её дело о вступлении в КПСС. Получив бумажку с бледными буквами из КГБ, она глядела на нее, как мне показалось с какой-то даже тихой, странной гордостью. В бумажке было написано, во-первых, что она подверглась аресту, а во-вторых, что полностью реабилитирована. Формулировка лестная в обеих своих частях.

Но идти на заседание районного «Мемориала» долго не решалась. Потом все же пошла, явно стесняясь своей демократической недоношенности – всего семь месяцев. Там ее приняли с восторгом, оказалось, что среди

многочисленной, требовательной тамошней братии, она была чуть ли единственной пострадавшей «лично». Все сплошь дети и двоюродные племянники репрессированных. Маме тут же предложили войти в ихний руководящий орган. Чувствуя в ней ярую общественницу, и видя ценный кадр. Она отказалась, сославшись на состояние здоровья. Не могла же она им прямо сказать, что переход с партийной работы, на антипартийную, это все же слишком круто. Даже для нее, привыкшей резко и решительно ворочать штурвал своей биографии.

Замуж мама вышла уже глубоко после войны, после окончания университета, и моего появления на свет. Пробыла в этом качестве довольно короткое время, недели полторы. Мой приемный отец Михаил Михеевич Попов моряк-речник, напившись как-то, решил с пристрастием расспросить супругу, почему это она завела ребенка вне брака. Вообще-то такие вопросы лучше задавать до похода в ЗАГС. После этого разговора, закончившегося вничью, Идея Алексеевна взяла чемодан в одну руку, меня в другую и отправилась в жизненное плавание. Из Харькова в Алма-Ату в конце пятидесятых, из Алма-Аты в Белоруссию в конце шестидесятых. А фамилия речника вместе с отчеством так навсегда с нами и остались.

С университетским дипломом преподавателя иностранных языков, мама легко повсюду находила себе работу. Почему-то в любой школе, в любом техникуме, даже сельскохозяйственном всегда была готовая должность для «иностранца». В шестидесятые годы страна осознавала свою мировую роль, и готовила соответствующие кадры. С другой стороны, нигде не было никакого жилья. Всю жизнь, сколько себя помню, мы перебивались по каким-то баракам, съемным комнатам, общежитиям – удобство только во дворе. Как оказалось все хорошие и, главное, свободные квартиры собраны были в Москве. Только тут в столице мы довольно быстро и сносно устроились с жильем.

Особенно запомнился мне барак в поселке Спиртзавод, что под Алма-Атой. Как-то ночью, пьяный завуч местной школы со звучной фамилией Кунанбаев, решил зайти в гости к одинокой учительнице французского и английского языков. Мы проживали тогда в сараюшке с дощатой, щелястой дверью, закрывавшейся изнутри на проволоочный крючок. Словесные уговоры на лихого завуча не подействовали, обещания завтрашнего разбирательства на местном он не испугался, и начал ломиться. Было件нятно, что дверь долго не выдержит. Вместо того, чтобы меня успокаивать – я сидел как Будда в своей кровати, с круглыми, перепуганными глазами – мама схватила жесткий, ивовый веник, которым мелся у нас глиняный пол, и бросилась к дергающейся на кожаных петлях двери. Между верхним ее краем и притолокой имелась довольно широкая щель. Именно туда мама и нанесла удар. Пук ивовых прутьев, заточенных о каменную глину, пришелся прямо в физиономию казахского кавалера. Он издал чудовищный крик, смесь боли, обиды и ещё чего-то, и убежал в ночь, и крик его ещё долго слышался, и казалось, что он уносится не просто в темноту, но вверх в горы, стоявшие тут же, сразу подле поселка.

А в горах было красиво, особенно весной. Оттуда приходила

изгибающаяся вдоль русла стремительной, ледяной речки шеренга тополей. Белые вершины сияли, и вся протянувшаяся по берегу пыльного шоссе мелкотравчатая, пропахшая запахом хлебной барды жизнь, казалось, происходит не просто так, а в присутствии высочайших особ. А однажды я видел там чудо, заросший маками холм, который после мелкого дождя переливался под плавным ветерком как выступивший из земли громадный бриллиант. А за этим холмом был Азат, чеченский аул, которым даже взрослые взрослых пугали, как адским жерлом.

Именно в этой местности, между чеченским аулом и снежными вершинами Тянь-Шаня я пережил приступ эдипова комплекса. Это было удивительно, потому что не только география, но и моя биография была против этого. Рос я в неполной семье, не было отца, чье присутствие могло бы провоцировать взрывы сдавленной ревности. Но Фрейдов демон все же ожил во мне, и явился в неклассической, и, можно сказать не острой форме.

Лет, примерно, до пяти мама брала меня с собой в баню в женское отделение, исключительно по той причине, что не с кем было меня отправить в мужское. Так поступала не одна она, три-четыре ребятенка мужского пола всегда можно было увидеть в мокром, замедленном хаосе женской плоти. Наступил, конечно, такой момент, когда я ощутил, что нахожусь среди этих фигур с черными треугольниками под животом, не совсем по праву. Это чувство было не острым, и даже не неприятным. Я догадывался, что нарушаю какое-то правило, но понимал, что мама меня защитит в случае чего. Из под невидимого покрывала её опеки, я с осторожным любопытством осматривался, в то время как тело мамы наоборот сделалось полным табу для моего взгляда. Разумеется, в моем поведении появились странности, и мама почти сразу же сделала правильный вывод о причине этого, и я стал мыться дома. Но это не конец эдиповой истории. Через год я пошел в школу, и меня прямо на уроках стали посещать довольно странные, не-приятно тревожащие мысли. Стоило мне услышать за окном класса коллективный шум-смех – какой-нибудь класс выкатился на урок физкультуры, как мне отчетливо представлялось: многочисленные орущие дети тащат на руках голую Идею Алексеевну. Я начинал ерзать за партой, чуть ли не скрипеть зубами. Просился выйти, и только убедившись, что это просто злые восьмиклассники носятся за истерзанным мячом, успокаивался. Вот такая глупость. Скоро это прошло. Что меня, собственно, тревожило, возбуждало страх и ревность? Что моей матерью, которую я считал своей абсолютной собственностью, «обладает» еще кто-то. Коллектив школьников. После спиртзавода в жизни мамы были самые разные коллективы. Хоры, парткомы, самодеятельные театры, но больше никогда их отношения с мамой не волновали меня в такой патологической степени. Венская хворь в семье с ампутированным отцом принимает вид фантомной боли.

Тему Фрейд и Тянь-Шань можно считать закрытой.

Как прикатила в великие азиатские предгорья Идея Алексеевна Попова с чемоданом и сыном, так и укатила с сыном и чемоданом.

Да, такое впечатление, что я все детство держался за руку матери, снизу

вверх. Однажды именно эта связь нас и спасла. Пересекали мы, уж не помню по какой надобности, великую казахстанскую степь. И остановились на станции с названием Чу. Теперь то я понимаю, это было не поселение, а прищипленный к карте крик, направленный во всю ширь бескрайнего выжженного пространства. Чу!!!

Туалеты в вагоне во время стоянок не работают, а мне захотелось. Мы завернули за здание водоканала, там было одноэтажное строение с пыльными зарешеченными окнами, но тут же кис на солнце раздолбанный газик с сонным шофером в кабине. Завернули за него, а там арба, а под ней женщина с голой грудью, и ребенок с орущим, заскорузлым ртом, потом еще один пакгауз, гора слежавшегося угля, и унылый степняк верхом на спящем ишаке. Мы петляли, кружили, пока не оказались в совершенно, кажется, пустом проулке, где я спешно начал отстегивать ляжку, поддерживавшую мои короткие, «пионерские» штаны, но мама вдруг кратко и звучно крикнула «Бежим!». И мы рванули вдоль по проулку, я, держась за мамину крепкую руку, зачем-то обернулся, и увидел двух огромных, оскаленных, мчащихся за нами верблюдов. Они неслись бок о бок, раскачивая вправо-влево пустопорожними горбами, и крест на крест ставя огромные плоские лапы. Они были как волосатый поршень в кирпичном русле проулка, сбивали боками старинную пыль с засохшей под стенами пыли. Бегство наше продолжалось удивительно долго, я успел оглянуться два раза, и обнаруживал их все ближе и ближе к нам, и когда уже страшный храп совсем уж навис над нашими головами, мама свернула в сторону и буквально выдернув меня за руку из под живого катка.

Случай этот всплыл в моем похмельном сознании, когда я вел свою старушку на рынок за теми самыми сапогами. Вел за руку, как большой ведет маленькую. Так, собственно и было – я раза в два выше мамы. Похмельные состояния характерны не только вспышками внезапной, истерической жертвенности, но и тягой к довольно примитивным жизненным обобщениям. Вот, подумал я, переводя свою запыхавшуюся старушку через улицу Короленко, такова наша жизнь: начинается с того, что мама меня водила за руку, теперь я ее вожу. Да, да, идет время. Когда-то я был идеальный ребенок, ангел послушания. Очередной наш барак (в какой части бескрайнего отечества происходило это, не важно) стоял неподалеку от оврага, я был отпущен поиграть с мячиком на лужайке, но с одним жестким условием, что ни в коем случае не перейду тропинку, что пролегла между баракком и оврагом. Мама пила в это время чай с подружками и конфетами. Через некоторое время прибегаю я, с сообщением, что мячик закатился за тропинку, и с вопросом можно ли мне сходить за ним. Всеобщий восторг собравшихся учительниц, сияющая мама. Вот что значит послушный сын!! А спустя каких-то тридцать лет этот мальчик, распухнув до ста с лишним килограммов, отрастив бороду, заставляет мать-пенсионерку выбрасываться вон из столь милой ее сердцу партийно-общественной работы. Трудно и определить, когда произошло это превращение ясноглазого маменькиного сынка в угрюмого и раздражительного тирана.

Идея Алексеевна подчинилась, хотя было видно, что без азарта. Сын

настоял, и она сложила полномочия, трудно сказать с какими чувствами внутри. Внешне – уравновешенное, не трагическое спокойствие. Надо, значит, надо. Сын сказал, что еще полгода, год и коммунистов начнут вешать на фонарях, значит, заботится о маме, думает о ней, зачем его подводить неразумно упорствуя. Наверняка, он знает больше. Я даже чувствовал, как она себя уговаривает: пора становится старушкой, пора вместо партбилета получить в руки кулек с внуком. Но, догадываюсь, эти разговоры не давали ей полно-го душевного равновесия. Успокоила же грамота от райкома к семидесятилетию, в ко-торой ее благодарили за заслуги. «Они меня обидели!» Сухо, серьезно сказала мама. Интересно, чем? Я с усмешкой прочел этот документ: набор общих фраз, подписи, печать. Прочел еще раз, непонятно. Подумал даже, не в задетом ли тщеславии здесь дело, недохвалили. Оказалось, все дело в первой строчке – «Награждается Лидия Алексеев-на...» Вот она, значит, кем была для них! Была в этом небрежном, сглаживающем переименовании какая-то неуловимая недооценка ее как личности.

Лидией Алексеевной называли маму студенты Жировицкого совхоза-техникума в Белоруссии, где она в конце семидесятых преподавала английский и французский. Это адаптирование своего имени к аборигенским языковым привычкам, она терпела, но, как однажды выяснилось, без особого восторга.

Я нахватал в восьмом классе троек, и меня решено было сдать в этот самый техникум, под родительский присмотр. Там я получил свой первый диплом, техника-электрика. Дипломная работа моя называлась интересно: «Разработка системы навозоудаления на ферме крупного рогатого скота». Тогда, в пятнадцать-семнадцать лет я был еще ближе к тому мальчику, что спрашивал разрешения перейти тропинку за мячиком, чем к начитанному, мнительному бородачу. Я начал изучение английского давно, на домашних уроках еще в Казахстане, знал его настолько лучше любого из окружающих меня электриков и механиков, что даже слегка маскировал свое превосходство. Хотя, как показала дальнейшая жизнь, маскировать-то было и нечего. Английский язык прошел сквозь мое сознание, почти не оставив следов. Он ощущался мною как дисциплина в общем-то схоластическая, что-то вроде латыни; возможностей для будущего применения английского я видел даже меньше, чем для системы скребковой транспортировки коровьего навоза, предложенной мною в дипломной работе.

Что же говорить о «хлопцах» – так, немного заигрывая с местным национальным колоритом, мама называла своих студиозусов; они воспринимали уроки ин-яза как некие камлания. Большинство их, я и сейчас помню некоторые фамилии: Крот, Ерш, Бусел (аист), выбрали своим непереходимым Рубиконом линию определенного артикля. Мама раз за разом, из месяца в месяц показывала как надо чуть раздвинуть зубы и вставить между ними кончик языка, а потом толкнуть изнутри воздух, чтобы получился приблизительно правильный звук – «дзэ». Зубы раздвигались, язык высывался, кипела слюна от напряжения, но уже через минуту, когда только что обученный «хлопец» начинал читать текст по учебнику, получалось всегда одно и то же – «тхе». Мама не сердилась, даже посмеивалась над собой –

«мадам Сизиф», но, по-моему, все же год от года потихоньку теряла уверенность, что построение коммунизма дело достаточно скорое. Но, несмотря на все сомнения, гнула и гнула свою линию, сколь бы мало та не гнулась. Ей очень нравилась фраза Песталоцци, что светлое будущее намывается как золотой песок, по крупицам.

И вот после трех лет упорной борьбы, когда уже и Крот, и Ерш, и даже Бусел все же перешли Рубикон, остался на прежних позициях один самый упорный парень с официантской фамилией – Метропольский. Он стоял насмерть. Он не только хуже всех знал английский, он хуже всех знал сопромат и электрические машины. Уже решено было его исключать. Его спасало только то, что был он тихоня, и в рот не брал хмельного, к тому же за него заступалась на педсоветах англичанка. Мама делала это не из примитивной жалости, она втайне надеялась «добить» его, вырвать из его рта драгоценный звук. Это была бы подлинная победа – целая, полная группа правильно артикулирующих «хлопцев». Маленький коллектив, сделавший шаг в нужном идейном направлении. Тут очень важно, что именно «коллектив». И неожиданно ей сообщают, что Метропольский напился и подрался. «Выгоню!» – решительно сказала мама, направляясь к месту преступления. Зная ее, можно было верить этому заявлению. Когда она вошла в общежитие, вокруг засуетились однокурсники, естественно стараясь «прикрыть» товарища. «Лидия Алексеевна, его тут нет». «Лидия Алексеевна, да он почти не пил», «Лидия Алексеевна, он всего разок ударил, этого в очках». Метропольский был обнаружен на кровати. Положение – ничком. «Переверните его», – велела Лидия Алексеевна, видимо, чтобы в глаза сказать бездельнику, все, что требовала ситуация. Он разлепил тяжелые веки, и вдруг громко, отчетливо произнес, глядя в глаза преподавательнице: «И дзэ я?»

Наутро на педсовете мама вновь решительно высказалась за то, чтобы Метропольскому дали еще один шанс для исправления.

Может быть, армия выковала мне новый характер? Отношения наши заметно начали меняться, когда я стал наезжать из Москвы из института на побывку. Мама вышла на пенсию в своем совхозе-техникуме, получив в подарок от сослуживцев две трети ковра (треть оплатила из своих), и занималась тем, что вязала и скучала, а я читал Кастанеду и слушал живьем Окуджаву, как мне было не вознестись над нею. Собственно, помниться я ничего такого и не изображал из себя, много ел, бездельничал, но оно как-то само собой чувствовалось, мое необыкновенное духовное взросление.

Да, мамочка, заметно состарилась, единственное на что у неё доставало сил, это на борьбу за свое перемещение поближе к сыну, то есть в Москву. И это ей удалось, в результате непростой, ступенчатой комбинации, она добыла комнатку в коммуналке здесь в Сокольниках, где я пишу эти строки. Здесь она, уже вполне по инерции, занялась общественной работой (ветеранский хор, жэковский партком), в эту коммуналку я и переехал к ней из своей однокомнатной норы на Можайке, полученной от Союза Писателей. Уволил из парткома, но позволил хор.

Впрочем, кажется, я немного преувеличиваю степень ее уступчивости и

податливости в, так сказать, идейных вопросах. Молчаливо, с безрадостной покорностью отползая по всем фронтам, она вдруг могла встать насмерть на неожиданном, на мой взгляд, совершенно неважном участке. Посетила капище несомненного мировоззренческого врага – заседание районного «Мемориала», но выступила решительно и даже ехидно против всенародно понравившегося фильма «Собачье сердце». Сначала я даже не обратил внимания, что это она там обиженно бурчит, странная моя старушка. «Что ж, это простому человеку и хода никакого не может быть в жизни?!». Фильмец-то вышел шикарный, рассыпался по всем московским кухням словечками-шуточками, гениальный Евстигнеев купался в роли гениального профессора, умудряющегося с таким интеллигентским изяществом держать в прямом смысле слова за яйца всю эту тупую, ублюдочную, большевистскую власть. Как в этой ситуации можно было отнестись к недовольному бормотанию неприметной пенсионерки – снисходительно усмехаться, да и все. Но некое чувство, названия для которого я никак не отыщу, заставило меня плотнее заняться этим случаем. Почему-то мне было не все равно, что моя мамаша, в прошлом учителька, очевидно, и даже с каким-то вызовом берет сторону ублюдка Шарикова. Понимает «сердце собаки». Почему-то я не мог спустить это на тормозах, махнуть рукой, мол, старики дурь, рассеется. Я, безусловно, числил себя в лагере Преображенских-Борменталей, и желал туда же перетащить и свою мать. Мне казалось, что для этого достаточно просто объяснить ей несколько несложных лемм. А эмоциональную окраску этому поединку придавало раздражение, всегда закипавшее во мне, когда мои интеллектуальные команды не выполнялись беспрекословно и немедленно. Как это, сметь перечить самому мне! Начал я тихо, рассудительно, но потом, поскольку доказывать самоочевидные вещи так же трудно, как описывать стакан, возгорелся от собственного логического бессилия и перешел на оскорбления и крик. «Быдло», «гряз-ные», «твари», «хамы», «узурпаторы», Учредительное собрание», «животные», «свое место», «грабители». Мама сидела на кровати, сложив руки на коленях, глядя на меня твердо, и вместе с тем с сожалением, что вынуждена меня огорчать. Один раз попыталась пояснить, что имеет в виду, сказала, что именно Советская Власть вывела ее в люди из «собачьего» состояния, дала ей высшее образование, а иначе ей бы так и сгинуть босоногой девчонкой, где-нибудь в алтайской деревушке на конюшне у дяди Тихона, или дядя Григория. И вообще не было бы построено никакой новой жизни.

– Да? – иронически вызверился я. – И до сих пор сидели бы мы при лучине? То есть, ты считаешь, что если бы остался при власти царь, то ничего, НИЧЕГО вообще в стране не строилось бы, хлеб бы не родился, руду бы не копали, рубашек не шили?!

И еще я ей про «великий железнодорожный крест» – Ахангельск – Севастополь, Брест – Владивосток, при царях, мол, построен, а не при краснопузых, похлеще БАМа будет дельце, про то, что жилой фонд Москвы до начала строительства «хрущоб» на 75 процентов был дореволюционным, что во время первой мировой не было карточек, что вообще страна перед революцией все Америки обгоняла по темпам роста.

В полемическом разъярении я крикнул, что может быть, ее перемещение из Алтайской конюшни, на университетскую скамейку в Харькове, не стоит той платы, что внес народ через раскулачивание и другое прочее. Может, честнее было бы остаться при дядькиных лошадках, чем всю жизнь изображать потом педагога, ибо нет же у нее – пусть признается – учительского дара – собственного сына, даже одному иностранному языку не сумела обучить, зная три.

Она помолчала, и тихо спросила.

– А почему ты так уверен, что ты из них?

– Из кого, «из них»?

– Из профессоров. Мы из простых, сынок, и ты бы тоже коров пас босиком, кабы не революция.

Эта простая мысль заткнула пасть моему напору. По основной линии спора двигаться было уже бесполезно, я вскочил со стула, махнул рукой – в общем, знак поражения – и крикнул.

– Да что ты все талдычишь, «босоногая», «босиком», что у тебя обуться не во что?! – и малодушно выскочил вон.

Я думал, мы рассорились если не навсегда, то надолго, но уже очень скоро я полностью вернул свои позиции, добился полнейшего покорства.

Случилось так, что я уехал на несколько дней, а, вернувшись, застал интересную ситуацию. Пришла посылка из Германии. Это был момент почти настоящей голодухи в нашем семействе, весна или лето 92 года. Тогда всем было трудно, Москва вдруг обросла миллионами огородов, только деревенский подвал, забитый картошкой и морковкой давал шанс на будущее. И тут вдруг поступила в город гуманитарная помощь. Сердобольные граждане Германии собрали, кто, что смог из еды и одежды, чтобы не дать помереть с голоду жителям страны становящейся на демократические рельсы. Распределялась эта помощь через ЖЭКи, и маме как бывшей активистке тоже досталась посылка. Пакет риса, пакет какой-то лапши, две упаковки галет, невкусный шоколад, сахар и еще что-то. К моему приезду все это было уже почато, отпробовано, мама демонстрировала посылку – теперь я это понимаю – с чувством, что вот какая я молодец, добытчица! Семье трудно, так я с паршивой овцы, хоть кулек сахара. Меня же эта посылочка очень задела, даже не сама по себе, а эта мамина радость в связи с нею. Я резко повернул ситуацию в идейную плоскость: это не посылка, а подачка, представь только себе самодовольство этой бюргерпублики, которая за такую смешную цену, за кило рисовой крупы получают возможность переменить итоги великой войны. Как же, побежденные кормят победителей! Ну, я бы еще понял, если бы... но ты! которая... которую... В общем, я напомнил ей о некоторых интересных моментах в ее общении с германскими оккупационными силами в те годы, о которых я узнал из ее же рассказов. Или все тогда было не так уж страшно, все списано временем? Говорил я, против обыкновения, тихо, как человек абсолютно уверенный в том, что говорит. Мама хмуро слушала. Не помню уж, какова была судьба конкретного риса и шоколада, но на следующий день Идея Алексеевна сообщила мне.

– Я написала ей письмо!

– Кому?

– По-немецки.

Оказывается, в посылочке был обратный адрес. Мама вспомнила, что первым ее иностранным языком, еще со школы был именно немецкий, его она знала куда лучше французского, и собственными силами освоенного английского.

– Ее зовут фрау Ремер, я все ей написала. – Помолчав, мама добавила, сурово прищурившись. – Пусть знает.

Съехавшись с матерью, я обнаружил, что у мамы появилось новое имя – Алексеевна. Так ее звали окрестные старушки, круглосуточно заседавшие на скамейках перед подъездом. Мама не возражала, откликалась, когда к ней так обращались, но внутрь дома, как я догадался, это имя не желала пускать, пусть оно остается исключительно уличным. Смириться с ним полностью, это, значит, слиться с теплой, серой массой совершенно политически темных бабулек, вяжущих и сплетничающих в тени лип. Для нее это было бы подобно идейной смерти. Да, она ушла из секретарей по требованию семьи, но продолжала считать себя человеком думающим, и равнодушным, от которого даже что-то зависит в этой жизни. Пусть единственным политическим собеседником у нее остается телевизор, она общается с ним в качестве именно пожилого коммуниста ИДЕИ Поповой, а не старушки Алексеевны. Но наступил момент, когда и эта ее позиция была атакована. Мой друг Сашка Кондрашов, верующий, более того воцерковленный человек, ужаснувшись революционному имени мамы, и узнав ее крестильное имя, воодушевленно заявил, что впредь будет её звать только так – Аграфена. Он, был еще больший ненавистник советчины, чем я, и справедливо считал, что времена коммунистического мрака на земле нашего отечества миновали, и теперь оставшиеся ошметки его нуждаются в активном, безапелляционном истреблении. Поскольку он бывал у нас в гостях очень часто, и голосом обладал завидным, то имя Аграфена грохотало постоянно. Сашка считал своим долгом поддерживать его звучание в воздухе квартиры. Мама не спорила, не сопротивлялась, виновато улыбалась и помалкивала. Более того, спустя некоторое время начала проявлять некоторый энтузиазм в религиозном отношении. Собственно, это произошло не в силу истинной духовной потребности, и даже не по возрастным причинам, как у других стариков, мол, пора задуматься о вечном, о душе. Ей почудилось, что в наши дни быть христианином, значит быть, вроде как передовым, современным человеком. Не в банальной моде конечно тут дело, но и не совсем без этого. Всегда она считала долгом настоящего гражданина быть на переднем крае, и если уж передний край пролегает теперь перед иконостасом, то, что же делать – задрать штаны бежать за крестным ходом.

Она отставила свой бодрый, безапелляционный атеизм, который был идеологи-ей нашего малого семейства во все годы моего детства. «Науку и жизнь» сменила «Наука и религия». Сколько помню, мама не верила в Бога энергично, наступательно, иронически. Пресловутые шестидесятые сдержали в

самом своем идейном воздухе флюиды привлекательного прогрессизма. Мы жили тогда в заброшенном, запыленном Спиртзаводе, но и как бы в некоем гражданском Армагеддоне, где шла битва сил прогресса и отсталости. «Безумные идеи» Ариадны Громовой, «Девять дней одного года», где героиня рассеянно говорит «зачем мне квартира?». И конечно, во множестве научно-фантастических романы, где описывалось загорелое, зубастое будущее, в быстрое достижение которого тогда вполне верилось. Особенно неотвратимо верилось в быстрое и неизбежное наступление «блистающего мира» там, в бараке с глиняным полом, рядом с шоссе, по которому проносились молоковозы налитые хмельной хлебной жижей.

Вершиной богоборческой маминой веры стал роман С. Снегова «Люди как боги», симпатичная космическая опера о победоносном проникновении коммунистических идей в самое сердце галактики, и вежливой гуманизации всего густо, оказывается, населенного разнообразными монстрами звездного мира. Монстры, в основном, были добрыми и вменяемыми. Мама перечитывала эту книгу раз двадцать, пристрастила к ней меня, навязывала своим ученикам, пыталась найти единомышленников среди коллег. Насколько я сейчас вспоминаю, просветительская ее деятельность особым успехом увенчана не была. Идея действенного добродушного коммунизма не прижилась в ни предгорьях Тянь-Шаня, ни в пойме Припяти, куда была перенесена в мамином чемодане. Студенты сельскохозяйственного техникума, в основном выпускники белорусских деревенских восьмилеток, мыслили больше практически, если не сказать приземленно. Фантастикой «хлопцы» особо не зачитывались. Больше думали о том, как бы в сентябре вырваться помочь «копать бульбу» на домашнем участке, да привезти оттуда сальца и цыбули, а в качестве культурного досуга предпочитали попить пивка в чайной «Елочка» и поплясать в клубе под радиолу. В известной степени, мамина проповедь коммунизма будущего была гласом вопиющего в Полесье. Студенты отлынивали, а преподаватели тихо посмеивались. Я их понимаю, инженеров и ветеринаров, выросших из числа тех же самых труженников частной бульбы. Странновато выглядела мамина устремленность в 22 век в сочетании с почти полной безбытностью, жизнью от зарплаты до зарплаты в крохотной общежитской комнатке, когда положение преподавателя техникума давало большие почти легальные возможности для солидного самообеспечения. «Люди как Боги» – название, как я потом сообразил, не случайное. Собственно, кто они такие эти счастливые и могучие жители будущего, поставившие себя на уровень богов? Если угодно, романтическая модификация человекобогов Достоевского. То есть, как это не забавно, мамуля моя участвовала, как умела в величайшей идейной битве нашей отечественной культуры, и кажется, не на той стороне. И не только словесно. Наш совхоз-техникум, где она преподавала уже не раз упоминавшийся, пролетающий мимо моего сознания, инглиш, располагался на территории и в помещениях известного Жировицкого православного монастыря, и в дни крупных церковных праздников, когда в единственном неотобранном у монахов соборе происходила служба, мама в компании других преподавателей, создавала оцепление у жарко и ярко

пылающего храмового входа, дабы отсечь студентов, привлеченных ложной красотой богослужения. На пути юных душ к вере плечом к плечу стояли химия, физика, полеводство, электрические сети, детали машин, технология металлов, английский язык с фантастикой.

Самое смешное, что Идея Алексеевна дожила до победы своих инфантильных, но ярких идей. Собственно, что произошло у нас в стране с приходом к власти Гайдара? В постперестроечной реальности пришли к власти читатели фантастики, конкретнее – читатели братьев Стругацких. Раскрепощенные, остроумные насельники академ-городков, университетских общаг и комсомольско-молодежных редакций пестовали идею иного, честного и разумно устроенного мира среди мерзостей окружающей действительности. Это было незримое, бездоговорное объединение людей, объединение почти религиозного свойства. Светская церковь. Двум случайно встретившимся МНСам достаточно было обменяться несколькими словечками, чтобы увидеть друг в друге братьев по духу. А если еще в кустах отыщется гитара... Можно даже допустить, что лучшие из них, (не приспособленцы, ставшие теперь банкирами), хотели хорошего не только для себя, но для всех. Для страны. Главная их ошибка этих «лучших» была в том, что они хотели этого быстро, сразу, не задумываясь о мерзостях переходного периода. «Понедельник начинается в субботу». Легко видеть, что в этой формуле пропущен главный член – воскресение. МНСы думали, что если они готовы жить по-новому, то и все остальные тоже готовы. Думали, только кинь клич, и люди воскреснут для новой жизни сами собой. Оказалось – никак нет. Косные народные массы не желали одним махом превращаться в жителей светлого будущего. Помню, году в 1990 киоск «Союзпечати» на автовокзале неподалеку от Краснодара, и там вянущие штабеля того самого «Огонька», из-за которого шла грызня в столицах. Каляканье Карякина про «Ждановскую жидкость», было глубоко по фигу местному хлебобобу. И «крепкие хозяйственники» довольно скоро это почуяли, сдули розовую пену и поделили страну с бывшими стройотрядовцами и комитетчиками.

Придя в 1982 году на преддипломную практику в журнал «Литературная учеба», я оказался в двадцатипятиэтажной стекляшке населенной комсомольскими журналами, где очень скоро обнаружил интересную вещь – среди нескольких сотен журналистов, что там подвизались, не было ни одного человека, который бы честно, не в условном пространстве партсобраний, стоял бы за Советскую Власть. Все рассказывали всем анекдоты про Брежнева, шутили насчет «загнивания Запада» и допив кофеек, шли сочинять передовицу для «Молодого коммуниста». Искренне не видя, кстати, ничего противоестественного в таком своем поведении. Я пришел туда из Литинститута, где царили схожие настроения, где прямо в коридоре общежития я менял «Лолиту» на «Архипелаг» совершенно не опасаясь, что это станет известно институтскому начальству. Что же, я сделал вывод, что таково мнение всего народа. Собственно, исходя из этого опыта я и принуждал маму бросить парткомство. Это уж много позднее мне стало ясно, что мои опасения насчет того, что коммуняк в один ужасный момент начнут вешать на столбах были более чем

смехотворны. Это значит, коммунаки должны были вешать сами себя, или быть повешенными своими детьми, приехавшими на каникулы из Оксфорда.

Впервые некоторые сомнения на этот счет у меня появились как раз в момент объединения наших с мамой жилплощадей. В ее трехкомнатной коммуналке умерла старушка Марья Герасимовна, оказалось, что комнатку свою она не приватизировала, и тогда я решился на страшную, как мне казалось авантюру – затеял поменять свою однокомнатную квартирку на комнату третьего соседа. Ну, поменял, но для надежного присоединения третьей комнаты нужна была сильная бумага. И мне ее дали в бюро обслуживания нашего писательского Союза. Там было жирным черным по белому написано, что «По постановлению Совета Народных Комиссаров от такого-то числа 1930 года, член творческого союза имеет право...» С робким сердцем нес я эту бумагу куда следует. Чувствовал себя как офицер СС, идущий с запиской от Гиммлера в секретариат Нюрнбергского трибунала. Но при виде документа все чуть не встали по стойке смирно. Это была что называется «настоящая бумажка, фактическая, броня». Я обрадовался, но и удивился. С одной стороны все идет к тому, чтобы забрасывать веревки на фонари для активистов советского режима, с другой неотразимо действуют постановления Совета Народных Комиссаров.

Наступили лихие девяностые, и Идея Алексеевна не распознала в забавно чмокающем премьере-реформаторе гостя из предвкушавшегося светлого будущего, героя прогрессивной саэнс фикш. Однажды я услышал, что из маминой комнаты доносятся странные, ни на что не похожие звуки. Я осторожно заглянул. И увидел, что бывшая преподавательница иностранных языков сидит перед телевизором и плюется в экран. На экране был зять Аркадия Стругацкого Егор Гайдар.

Увидев меня, она сказала:

– Ты купи мне эти щетки.

– Какие щетки?

– Ты же читал мне сегодня.

Я ей и Лене прочел утром шуточную заметку из «Московского комсомольца», о том, что в Москве в продаже поступили телевизоры с установленными на экране авто-мобильными дворниками, ибо в последнее время зрители стали часто плевать при просмотре телепередач.

Вообще-то по маминым рассказам, она была в молодости заядлая «капустница», любила пошутить-похохотать, но чувство юмора куда-то исчезает с годами. Может быть, это и к лучшему.

Кстати телевизор у мамы был как бы немного бесноватый. Временами ни с того, ни с сего, он сам в себе переключал громкость и начинал орать в самых неожиданных местах, как бы подчеркивая некоторые слова. Когда это случалось посреди нейтрального теста, это воспринималось просто как имитация скверного человеческого характера. «В Волгограде ноль плюс пять, В Краснодаре плюс два, плюс четыре, В Астрахани плюс три, плюс пять, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ!» Мама вздрагивала и морщилась, однажды сказала: «Ну, он прямо как Николай». Я попытался выяснить, о ком речь, но она только

махнула рукой. Забавнее выходило, когда телевизор принимался редактировать политические тексты. Особенно мне запомнилось заявление Примакова: «Я возмущен СООБЩЕНИЕМ об убийстве Галины Старовойтовой!» Бездушный прибор выделил смысл и так уже вложенный политиком в свое высказывание. Он возмущен не столько самим убийством, сколько фактом сообщения о нём. Несколько раз я предлагал вздрагивающей телезрительнице – давай, купим новый, но она категорически отказывалась, трата представлялась ей просто безумной. Приходили телемастера, что-то там подпаивали, но лечения хватало не надолго. Но однажды она сама завела об этом речь, когда ей показалось, что телевизор ее предал. Он внезапно закричал вместе с уже упоминавшимся выше политиком: «РОССИЯ, ТЫ ОДУРЕЛА!» Но поскольку это мамино на-строение продержалось недолго, наверно прибор одумался и подкорректировал свои высказывания.

В то время она была наиболее готова к тому, чтобы войти в двери церкви. Помешала, как ни странно, биография. Мы, алтайское ответвление чугуевских Шевяковых, испокон веку староверы. И в известный момент своей душевной смуты мама отправилась именно в староверскую церковь, что было, в общем, логично, откуда вышел туда и возвращайся. Нашла такую где-то возле Таганской площади. Что уж там произошло в деталях осталось мне неизвестным, только вернулась она оттуда в ярости. Я спросил в чем дело. «Какие, невнимательные». На ее языке это был просто мат. Потом, по мелким деталям, проскальзывавшим в разговоре, я понял, что её, задав несколько наводящих вопросов, элементарно грубейшим образом выставили вон из староверской церкви. Так получилось, что столкновение с сектантским угрюмством, бросило тень и на всю церковную тему. Мама однажды мягко, даже смущенно попросила меня поговорить с Сашей Кондрашовым, чтобы он больше не называл её Аграфеной, всё-таки, как ни говори, у неё ведь даже по паспорту совсем другое имя. На лице у меня выразилось, видимо, столь заметное неудовольствие, что она сразу же замахала руками.

– Ладно, ладно, если ему хочется, то пусть уж называет, как хочет.

Один раз зачерпнув из колодца путанной старушечьей памяти, я вижу, что слишком много упустил. Вообще, возможно ли хоть какую-нибудь жизнь рассказать вместе и полно, и связно. Уж за такой вещью как хронологическая последовательность событий, я и не гонюсь. Было бы хоть общее ощущение единого течения. И как выверить в какой степени должен присутствовать я сам в этом повествовании. Единственный любимый сын, «свет в окошке», «главный мучитель», но, вместе с тем, рассказ все-таки не обо мне.

Зачерпнём ещё раз.

Пожалуй что, все самое интересное и, может быть, важное в жизни Идеи Алексеевны случилось еще до моего появления на свет. Протекала она, жизнь, частью на Алтае, потом в Чугуеве, потом в Харькове. В Чугуеве умерла моя бабушка Елена Ивановна, в молодые годы соратница дедапереименователя, между прочим, первого секретаря Алтайского губкома ВКПб, сама член этого губкома, потом почему-то сразу, без объясненного толком перехода, повариха правительственного вагона-ресторана в поезде Алма-Ата – Москва. Часть

плохо мне известного человеческого объединения, которую можно было бы назвать «нашим родом», была выброшена из под Харькова на Алтай в годы Столыпинской реформы. Земли, лошади, гражданская война, дядя Тихон за красных, дядя Григорий за атамана Мамонтова. Или наоборот. Всю свою литературную молодость я считал, что у меня есть в запасе «тема», родовой клад, специально сберегаемый, до появления того, кто сможет им, как следует, распорядиться. Как-то недавно открыл я этот сундучок, потянул носом, «тема» истлела. Или я сам истлел для нее.

Мама разъезжала часто вместе с бабушкой-поварихой, и однажды, хорошо накормленный Ворошилов даже подержал маленькую Идочку на руках. Ворошилов подражал Сталину, маленькая моя мама невольно копировала артистку Аросеву.

В Чугуеве же произошел и расстрел.

Об этом эпизоде мама рассказывала мне больше всего, и, вместе с тем, он остался наиболее затуманенным в моей памяти. Случилось так, что немцы схватили девушку Идею, за что именно, ей-Богу, выпало из головы. Или не было толком объяснено. Может быть, уклонение от отправки в Германию. Была некая подруга Сима, работавшая в комендатуре и предупреждавшая когда надо, что нужно на время схорониться, а тут вдруг не предупредившая. Лепится сюда и версия с теми же самыми листовками, упоминавшимися выше, наградой за которые впоследствии был наградой этап и гигиеничная казанская тюрьма. То ли их у девушки Идеи случайно обнаружил патруль, то ли кто-то донес, что их можно у нее обнаружить. В общем, оказалась мама в пустом станционном сарае вместе с кучей другого задержанного народа. Там были школьники, деповские рабочие, торговки с рынка, почему-то бригада маляров, и прочие всякие люди. Когда мама отсидела в страшной неизвестности часов пять, пригнали очередную партию задержанных. Среди них оказалась мамина соседка по улице Мартемьяновна, увидев знакомое лицо, она в голос, на весь сарай: «Ида! Ида!» Тут же возник из-за двери оказавшийся там офицер, и тоже кричать: «Юде!? Юде!?!» Маму выволокли из сарая, она, благо сразу сообразила в чем дело, и благо, что в школе учила, и хорошо учила дойч, начала яростно, и на хорошем немецком открещиваться от своего имени. На свету её рассмотрели, и принуждены были согласиться, что она, скорее Лида, чем то, что они подумали. Кстати белорусские неучи никогда не узнали, что это не они прилепили своей «англичанке» это обтекаемое прозвание, что оно родилось в драматический момент её жизни и с помощью немецкого языка.

«Вот так, сынок, как одна буква может сыграть, а ты все пишешь, пишешь», – сказала мне мама, причем, без всякой подковырки, а с печалью безрадостной констатации в голосе. Но я, помнится, тогда (не печатали совершенно, и даже надежда на то ниоткуда не поблескивала), обиделся, и ехидно напомнил ей, что своевременное принятие псевдонима, от больших неприятностей ее не избавило. Мама замкнулась, и впоследствии на эту тему со мной говорить отказывалась. Пересказываю то, что запомнилось по прежним рассказам, запомнившимся кое как.

Вечером того же дня, явился вдруг в сарай другой фриц в плетеном погоне

и с толстым ручным фонариком, и, руководствуясь своими соображениями, выбрал из сидячей толпы пятерых человек. Четверо – рабочие железнодорожники, пятая – девушка по имени Лидия. Впрочем, этот имен не спрашивал, велел всем выходить. На улице поджидала шестерка солдат с винтовками. Мама особенно настаивала, что с винтовками. Офицер приказал – вперед, туда идти, за железнодорожное полотно, в ковыли. Отошли метров на сто пятьдесят, а там уже вырытая могила. Вернее какой-то ров, но всем стало понятно, что будет он могилой. Вечерело. Густой, дымно-красный закат. Теплый ветер, облеплял платьем колени. Офицер построил осужденных на краю рва, шагах в пятнадцати встали его стрелки. Ахтунг! Стволы смотрят в глаза. Вскрик офицера. И, как утверждает мама, дальше ничего. Очнулась от непонятного таяканья справа от себя в кустах. Наконец, разобрала, что голоса человеческие. «Титку, титку, ты живая, ползи сюда!» Какие-то пацаны, как потом выяснилось, подсматривали за расстрелом, и сообщили девушке Лидии много интересного. Оказывается один из рабочих, «той що с чупром», в самый последний момент перед залпом, сделал шаг чуть вправо, как бы закрывая своим плечом стоящую рядом девушку. Он, кроме того, пока их строили, пока щелкали затворами, все утешал ее «не бойсь дочка, не кручиньсь». Мама напрочь не помнила никаких слов. «Тай, зря ен», сказал другой парнишка. «Почему?» Выяснилось, что один из солдатиков, молоденький, белобрысый, что стоял напротив нее, стрелял заведомо поверх маминой головы. Ничего особенно удивительного в этом факте не вижу – молоденькому пареньку, хотя бы и фрицу, трудно вбить пулю в симпатичную девушку, и если есть возможность увильнуть от такого задания, постарается увильнуть. Значительно большее мое любопытство вызывал всегда этот пожилой железнодорожник, какое самообладание на краю могилы, степень не думанья о себе, высчитывал ведь момент, когда шагнуть вперед, да еще, небось, так, чтобы выглядело не-преднамеренно.

Когда пришла команда по засыпанию рва неостреленная девушка Идея уже далеко отползла по ночным кустам. Утром у нее отнялись ноги, и два месяца она не могла встать с кровати, но это все мелочи.

Надо понимать, ей было не суждено умереть тем теплым вечером. Ни в качестве еврейки, ни в качестве русской.

В еврейском звучании ее имени заключалась не только опасность, но и польза. В послевоенном Харькове самым лучшим клубным коллективом обладал, конечно, Дом Милиции. Это был Олимп художественной самодеятельности города. Там происходили сочные вечера под новый год, в первую, и в День министерского праздника, а в другие дни ставились скетчи, оперетки, и прочее в том же роде. Мама попала на эту вершину не снизу, а сверху, из профессиональных сфер: ее отчислили из Театрального института, где она училась, между прочим, одновременно с самой Людмилой Гурченко. Знакома, правда, не была. О причине отчисления мама распространяться не любила, что понятно, но, вместе с тем, чувствовалось, что и какого-то жгучего горевания по этому поводу у нее не было. Кажется, причиной было что-то объективное. Непорядок с голосом. Голос у мамы был замечательный,

породистый, сопранистый, но гулял по ритму. То есть в хоре она держалась уверенно, как кирпич в стене, а, оказавшись в самостоятельном плавании в каком-нибудь дуэте, начинала торопиться дергая аккомпанемент. Вот с отделения музыкальной комедии, на котором она пыталась подвизаться, маму и попросили, объяснив, что перспективы у нее нет.

В тот момент, когда как раз начиналась неприятная полоса в институте, кто-то из однокурсников познакомил ее, так просто в фойе, с впоследствии знаменитым Леонидом Быковым. Кажется, уже и к моменту знакомства за ним что-то числилось по киношной части. Леониду было совершенно все равно, как там у мамы с чувством ритма, он тут же стал «ухаживать». И явно «с самыми серьезными намерениями». «А что, сы-нок, был бы ты сейчас такой же маленький и лопоухий». Леонида Быкова мама мягко, но решительно отшила. Потом, когда его показывали в роли матроса Мокина, окончательно уверилась в том, что поступила тогда правильно.

Зато в Доме милиции ее «с руками оторвали». Тем более, что один дуэт, «Одарка и Карась» из оперы «Запорожец за Дунаем», Ида Шевякова все же сберегла в своем заглавнике в исчерпывающе вытверженном виде. Коллектив Дома в значительной степени состоял из евреев, и мне сейчас трудно сказать, за что именно маму «отрывали с руками», за звучание голоса или за звучание имени. Самодеятельные артисты – милейшие люди, по большей части – были не только евреями, но и работниками органов, что создавало неповторимую одесско-чекистскую атмосферу. Судя по всему, маме там нравилось, сам дух непрерывного капустного творчества, розыгрышей, куплетов и т. п. Суровые следователи по особо важным делам, сбросив свои кожанки и френчи, начинали немедленно безбидно острить, дружелюбно дурачиться, и покатываться со смеху.

Сохранилось несколько альбомов фотографий, говоря современным языком портфолио той маминой деятельности. Много спортзала: мама на бревне, на коне, шеренга гимнасток с на удивление увесистыми формами. Какая-нибудь нынешняя Хоркина смотрелась бы там как член сборной Бухенвальда. Мама с пистолетом в решительно вытянутой руке, в роскошном черном платье, с огромной брошью на груди – скетч «На старой даче». Куча друзей из той поры; надо думать, время самых сильных личных переживаний. Была влюблена, и именно в следователя по особо важным делам по имени Захар. При суровой работе, он был маменькин сынок, про него говорили, что и жену он себе ищет, чтобы максимально походила на его «тетя Дору». Моя мама, на еврейскую не походила совсем, поэтому шансов у нее не было никаких. Там же в Доме у нее появилась закадычная подружка Анька Кулишенко, отношения с которой сохранялись, несмотря на разлуку, почти до самого конца. Жили они весело, «не пропускали ни одного нового фильма». Особенно мне почему-то запомнился рассказ о культпоходе на «Скандал в Клошмерле», французскую комедию, со смешной сценой посещения мэром города нового муниципального туалета. Что уж там такого мог учудить мэр в туалете, только мама с Анькой тогда так хохотали, что их принуждены были вывести вон из зала, несмотря на близкое знакомство с милицией.

Было еще одно учебное заведение в судьбе мамы между театральным институтом и университетом, и весьма необычное – протезный техникум. Занявшее в ее жизни, даже меньше места, чем навозоудалительное заведение в моей. Но без упоминания о нем, не будет доведена до конца немаловажная обувная тема. Протезы, ведь это своего рода обувь. На этом поприще мама тоже кое-чего достигла, ее дипломной работой было изготовление пешеходного устройства для одного инвалида; мамин протез пришелся ему по ноге с одной примерки, и он прямо так и ушел к себе домой, во весь голос, восхваляя молодого специалиста. Говорят, он так распридурковался в этот день, что сломал руку.

От этой искусственной конечности, уже совсем просто перейти к человеку по фамилии Бут. Это мой отец. Я никогда не видел, и не стремился особенно увидеть. Факт моего существования был ему известен, но он даже бровью не повел, чтобы увидеть меня. Для тех, кто не знает Бут, в переводе на русский, значит Нога. Был он студентом художественного института, и Идея Шевякова познакомилась с ним, явившись наниматься в натурщицы. Этот фрагмент маминой биографии еще более темен, чем история с расстрелом. Разузнавать что-то обо всем этом я начал уже в те времена, когда мама была пожилой, сугубо положительной и очень советской женщиной. Советской в том смысле, что «у нас секса нет». О том, что ей приходилось не просто общаться с молодым художником, а позировать ему, и позировать в обнаженном виде, она обмолвилась всего раз или два и с ощутимой неохотой. В душе ее явно происходило борение двух идей: с одной стороны следовало служить кристальным положительным примером подрастающему сыну, с другой, надо было что-то делать с собственной жизненной установкой – правда и только правда! Результатом этого борения было то, что я получил информацию хоть и правдивую, но куцую. Был волен домысливать в меру своей испорченности. Но в те времена, когда я об этом узнал, у меня не было в запасе достаточно грязи для соответствующих выводов воображения. А когда я помотался по мастерским и дачам, и такой пищи скопилось сверх всякой меры, то успела отрасти способность к пониманию, переходящему в сочувствие. Причем это «понимание» касается обеих сторон принявших участие в акте моего появления на свет. Я упорно верил маме, что отношения обнаженной женщины с малюющим её молодым парнем, вещь ни в малейшей степени не компрометирующая женщину. С другой стороны, чем дальше, тем больше, я готов был различать крупницы здравого смысла в заявлении юного художника – «это не мой ребенок!». Намек на то, что модель по имени Идея позировала не одному ему, что входит в понимание её профессии. Точно определить, где тут кончается здравый смысл и начинается подловатость, трудно. Вполне возможно, что художник был искренне убежден в своей правоте. Ему предложили работу в Москве, а тут под ногами какая-то тетка старше его четырьмя годами и с совершенно неуместным ребенком. Понимая его, как мужчина, не понимаю как сын. Тем более, если судить по позднейшим фотографиям сходство между нами несомненное. Впрочем, всё это разговоры для мертвых. Отец, если это отец, умер раньше мамы. Перед моей поездкой в

Москву в институт мама написала ему письмо, мол, помоги, коли можешь. Мне казалось, что подготовка полученная в сельскохозяйственном техникуме не давала стопроцентной уверенности, что я поступлю в Литературный институт. Это потом я выяснил, что шансы поступить у меня были только в это заведение, и ни в какое другое.

Мы так распределили неперенные и неприятные переживания в связи с этим почтовым шагом. Я кипел еле сдерживаемой гордой обидой, пару раз даже выкрикнул что-то вроде: «не надо, прошу тебя» Мама спокойно приняла на себя обязанность унизиться. Заявлением «это не мой ребенок» нас одинаково пнули в свое время, а мы в ответ, спустя пусть и восемнадцать лет – «с просьбочкой». Но и моя поддельная гордость и мамино спокойное самоуничижение (главное, сыночку как-нибудь помочь), все оказалось зря. Послание не дошло. Я это выяснил через пару месяцев в Москве, художник Николай Бут давно уже не жил по тому адресу, на который мы отправили мучительное послание. Странно, но установив, что на самом деле унижения не было, я не испытал облегчения. И никаких серьезных попыток встретиться с родителем не предпринимал более никогда.

А художник он был, – я не специально, не регулярно, то, тем не менее, коллекционировал отзывы профессионалов – был хороший. Правда, с сильным военизированным уклоном. Грековец. Участвовал в работе над гигантскими батальными панорамами в разных городах. Кажется в Белгороде, еще где-то. Как-то на отдыхе в Крыму, мы купили с Ленкой альбом под названием «Аджимушкай». Партизанская жизнь известковых подземелий во время войны. В общем, впечатляюще. Ощущение жуткой жажды чувствовалось даже сквозь липкую бумагу репродукций. В этом авторском альбоме был черно-белый портрет родителей художника. То есть, вполне возможно, моих деда и бабки. Пара престарелых, сурового вида хохлов. Взгляд исподлобья, натруженные руки. Долго всматривался. Нет, никакого шевеления внутри. Мои корни в этом направлении протянулись неглубоко, да и засохли на первом же изгибе.

Я показал альбом маме, она долго его изучала в своей комнате, потом принесла и отдала мне. Как бы показывая, что это сугубо мое имущество. Но при этом ни одного сопроводительного слова. А что тут можно было сказать? Альбом, с одной стороны, ничем не подтверждал ее утверждение, что у неё некогда было знакомство с ныне преуспевающим художником, с другой, никак не компрометировал, не выставлял на обозрение в голом виде. Тема партизанского сопротивления в подземных каменоломнях не нуждалась в обнаженной натуре.

В своем детстве я много, больше, чем, скажем, одноклассники уделял времени военным играм. Не только носился с палкой по кустам, или подрывал найденные в заросших окопах патроны. Сам что-то мастерил, неделями сидел на полу в каникулы, двигая пластилиновые флоты и фаланги. Может быть, в этом изобретательном игрушечном воевании сказались отцовские гены. Сказать по правде, не густое наследство, потому что ни малейших способностей к рисованию мне по этой хохляцкой линии не досталось.

Интересно, что все началось с денег. Или тут правильное сказать, с денег

начался конец. Вот уж с чем в нашем крохотном семействе было просто. Жили точнехонько от зарплаты до зарплаты. Слава Богу, что в те поры ее не задерживали даже на день, более того, если в этот распорядок втискивался праздник, выплачивали заранее. Никакого представления о «черном дне», оно и понятно, откуда ему взяться при стойкой и полной вере в неотвратимо наступающее «светлое будущее». При маминой профессии, да если еще и помноженной на ее характер способов к разбогатению не было. Иностранные языки вещь в школьном и техникумовском образовании вещь неотменимая, но вместе с тем и вполне боковая. Во времена нашего белорусского сидения в общежитии совхоза-техникума сумки с пахучими подношениями и завернутые в газетку пачечки десяток от маститых заочников шли магистрам более основательных, практических наук, где все связано было с металлом, электричеством, и, особенно логарифмом и дифференциалом, что, по сути, справедливо. Ничего ни золотой цепочки, ни браслетки или колечка на память о маме-бабушки не осталось у Идеи Алексеевны, или, может, разметалось все по железным дорожкам от Алтая до Полесья. Помню отлично такой случай: в ювелирном магазине Гродно выбросили «золото» (то ли подорожало оно, то ли подешевело), и образовалась страшная, с давкой, скандалами, очередь, мы проходили мимо и мама с самым неподдельным смехом комментировала происходящее. Мол, что за странные люди, для чего копить эти желтые побрякушки, отказывая себе во всем. Нисколько не притворялась. Сила внушения была такова, что я до глубокой молодости остался при отчетливом внутреннем убеждении, что любое золото есть нечто обременительное, косное, и чуть-чуть смешное. Его роль в мире только одна – заполнять сундуки кладов, и болтаться на ушах и шеях кинопринцесс.

Но поскольку общее настроение на этот счет было иным, Идея Алексеевна ощущала, так же как и в случае со своей фантастикой, дискомфортную свою инородность и легкую иронию окружающих. Ее искренне удивляло как люди снисходительны к разного рода растратчикам и пойманным ловчилам, и каким уважением пользуются ловчилы не пойманные, «умеющие жить» и она вдобавок была смущена тем, что сама вызывает удивление своими мнениями. Особенно сложным стало ее положение, когда она вышла на пенсию, а я уехал учиться в Москву. Мне надо было «помогать». К моей стипендии требовалось еще как минимум пятьдесят рублей в месяц, чтобы я мог вести тот безалаберный образ жизни, который казался мне единственно возможным. Завела огородец, и засела за старую швейную машинку. Когда-то, еще в спирзаводовские времена, мама была человеком, продвинутым в плане моды. Выписывала журналы с выкройками, мастерила рискованные модели, для меня, себя и самых передовых коллег. Полет ее творческой фантазии был сродни житейской решительности, она и ситец кроила с той же лихостью, что совершала переезды через всю страну с одного голого места на другое голое место. Теперь, правда, швейных крыльев своих слишком не распускала. Обслуживала знакомых пенсионеров, выезжала на соотношении цена – качество. Полученные тройки и пятерки превращались в Москве в «Тамянку» и «Акстафу». Курсе где-то на третьем, я, наконец, понял, что сидение на

материнской шее долее продолжать уже нет никакой возможности. И тут же подвернулась отличная работа, во-первых, ночная, во-вторых, высокооплачиваемая, в-третьих, рядом с общежитием. Да к тому же в компании своих приятелей. На местном молочном комбинате надо было превращать сухое молоко в жидкое. Мы вспарывали двадцатипятикилограммовые мешки и высыпали содержимое в чан с кипятком. Четыре часа поздним вечером через день, и двести рублей на карман. После возвращения со смены можно было еще и в преферанс перекинуться. Попутно руководитель моего семинара в Литинституте пристроил меня рецензентом в одно крупное издательство. Тогда же промелькнули первые заметные гонорары. Одним словом я начал высылать маме по сотне в месяц. Каждый перевод производит эффект разорвавшейся бомбы на деревенской почте. Об этом Идея Алексеевна с гордостью мне сообщала. Еще бы, все прочие учащиеся детишки только сосут деньги из своих родителей, а тут такой уникум отыскался, что сам шлет из столицы в деревню. Можно только догадываться, как он там устроился. Конечно, воспользоваться этими сотнями мама никак не могла, потому что заранее было решено, что это собирается сумма для уплаты будущей фиктивной жене за московскую прописку. Мама обладала не деньгами, а самой идеей денег, очищенной даже от главного в них – покупательной способности. Никому она об этом, разумеется, не говорила, просто тихо купалась в лучах совершенно бескорыстной материнской славы. Как же, именно у нее, у самой непрактичной, уродился такой тороватый сынок. Оказалось, то, что он так много читает, и корябает пером бумагу, совсем не означает, что существо совсем пропащее.

Да, началось всё с денег. Возвращается как-то мама из магазина и начинает жаловаться на продавщицу. Стоит в прихожей, мнет десятирублевку, но не как обычно, а с едва заметным надрывом в голосе. Сначала я не обратил внимания. Слишком это было похоже на общестариковское возмущение современными рыночными порядками, ухватками торговцев и, главное, наглыми, скачущими наподобие блох ценами. Это, что-то сродни плеванью в телевизор, и столь же действенно. Через пару минут, выйдя из ванной, я обнаружил, что сцена продолжается, и в ней уже участвует не только мама, но и Лена, которая искренне, кажется, старается разобраться в сути дела. У супруги моей с моей матерью отношения сложились очень хорошие с самого начала, и еще улучшились, с того момента, как мы съехались в этой квартире. Объяснение самое простое – мама с первого дня и полностью отдала молодой самке все бразды правления в доме, кухню, хозяйство, деньги и т. п. Себе оставила самое скучное – оплату коммунальных услуг. К тому же, поскольку именно я был в доме главной фигурой, возмущающей спокойствие и порядок, то мама просто из природного чувства справедливости принуждена была держать сторону жены. Та же, в ответ взяла под тихую человеческую защиту старушку, вечно попираемую на идейных фронтах слишком начитанным сыном. Вечно пилила меня, что слишком невнимателен к матери, что она, живя с нами, все же живет как бы на отшибе, и давно уже просто растоптана сыновним авторитетом, которому лучше бы найти более здоровое применение.

И вот эта история с деньгами. Лена отправилась в магазин, с явным

намерением поставить там всех на место. Она умеет разговаривать с магазинной публикой, выматывая им жилы неутомимой вежливостью, и знанием своих прав. Вернулась она минут через пятнадцать, пребывая в явном смущении. Оказалось вот что. Идея Алексеевна хотела в приобрести в булочной упаковку крекеров стоимостью в двадцать четыре рубля при помощи бумажки достоинством в десять рублей.

– Мне даже неудобно было перед ней, – сказала Лена, имея в виду продавщицу. – Говорит, раз пять объясняла вашей бабушке в чем дело, она свое.

Мы растеряно косились на дверь маминой комнаты. Там было тихо, но чувствовалось, что там ждут результатов расследования. Последовал на удивление тяжелый разговор. Пришлось начинать с ужимок, вроде того, что за последнее время деньги так часто менялись, что и молодому человеку немудрено запутаться, а не то что... Я посмотрел в глаза мамы и понял, что она не верит ни одному моему слову. Она перевела взгляд на Лену, та тоже залопотала что-то в том же роде. Очень неприятно, но приходится признать, что продавщица была права.

– Хорошо, – сказала Идея Алексеевна. – Разобрались. Спасибо.

Дурацкое положение: точно знаешь, что не виноват, но одновременно все же и несомненный предатель. Сколько раз бывало раньше: я приполз домой под утро, нарушая данное накануне обещание «больше никогда, никогда», гримасничая лезу целоваться, вытаскиваю подлыми пальцами последние мятые бумажки из беззащитного старухино кошелька, чтобы сбегать при этом ещё за пивом, но не ощущаю себя таким гадом, как в истории с несостоятельной десяткой.

Вечером этого же дня, я, забредя, как это часто бывало, в книжный магазин, неожиданно увидел там отличное издание французского романа «Скандал в Клошмерле». И купил его, чтобы загладить несуществующую вину. Напомню, думал, молодость, приятно ей ведь будет. Вошел, вручаю. Едва посмотрела на обложку. Спрашивает – доверено ли ей будет впредь платить по жэковским жировкам, или необходимо сдать дела. Да что ты! что ты! Конечно, это твоё... в том смысле, что... в общем, плати. Что характерно, в ближайшие три месяца никаких финансовых недоразумений в этом направлении не возникало, и мы с Леной совсем было уж решили, что случай с десяткой был именно всего лишь случай.

Лена меня часто пилила: ну, что там она одна и одна сидит у себя, как в норе. В самом деле, матушка слишком уж нам не докучала, нальет чаю в свою чашку в горошек, сделает бутерброд с докторской колбасой, и к себе. К некогда оплеванному телевизору-Николаю. Она держала свою уже чуть трясущуюся руку на политическом пульсе страны. Все выборы, все референдумы «да», «да», «нет», «да» прошли через её сердце, запиваемые горячим чаем. Самая большая неприятность состояла в том, что ей не с кем было поделиться переживаниями. Я, что было многолетне проверено, для этих целей не годился. По её мнению, у меня в голове была совершеннейшая каша, думаю, к концу жизни она пришла именно к такому выводу. К тому же ей поднадоела и моя раздражительность, и

моя снисходительность. Старухи, навечно засевшие на скамейках у подъезда, для общения тоже не годились. Их интересовала скорее политика двора, чем думская. Перемывание костей, переплетение сплетен, это Идее Алексеевне было неинтересно. «Тёмные», отзывалась она о пенсионерках. Особенно ее огорчала Галья-татарка, такой, казалось бы подходящий кадр, трактористка тридцатых годов, чуть ли не первая мусульманская женщина севшая на пахотный механизм, а никакой сознательности. Бродит с грязными клетчатыми сумками от парижского универмага Тати, собирает бутылки, и сведения о том, кто кому изменил. Была еще Тамара Карповна, вдова подполковника, старушка по словам мамы «воспитанная», но почти совершенно глухая. Если все остальные бабки называли маму «Алексеевна», то эта только по имени. «Ну, что Идея, гулять пошла?» «Ну, что Идея, хлебца купила?» Отвечать ей было бесполезно.

В идеале маме подошло бы для благодушного, наполненного смыслом старения общество пикейных жилетов, где она бы образовала женскую фракцию. Но окрестные старички давно перемерли, подчиняясь утверждениям газет, что продолжительность их жизни на десять лет меньше, чем у старух. А те, что остались, сидели с удочками на пруду за соседним домом. Единственной отдушиной был полковник Ногин, вот он понимал все, судил обо всем сходно, кипел похожими возмущениями, но одно плохо, редко был в состоянии составить компанию даже по телефону, потому что больше проводил время в реанимации, чем дома.

Вот и сидела Идея Алексеевна у себя в комнате. Когда мне становилось стыдно, или когда Ленка совсем уж допекала меня упреками, я заходил к ней, усаживался в старое замызганное кресло и, перебарывая чувство неловкости, заводил какой-нибудь разговор. О прошлом мама вспоминала неохотно, и все с меньшим количеством подробностей. Чувствовалось, что она как бы не вполне доверяет моему интересу, ее смущает мое тыканье пальцем в те драгоценные для нее события. Вдруг ни с того, ни с сего взял, явился, и рассказывай ему про то, как пили чай за столом у дяди Григория. Мне приходилось даже напоминать: скуповат был и бородат, изрядный лошада, брал в ладонь кусок желтого сахара, и откалывал ножом тоненькие как слюда кусочки. И надо было с этим «напиться чаю». Она кивала, да, правильно. Вот и повспоминали.

Еще хуже вышло с моей попыткой навести политические мосты. Я приносил ей газету «Завтра», пел про «антинародный режим», смеялся над Ельциным. Но она, вместо того, чтобы обрадоваться этому как акту политического единения родственных душ, смущенно улыбалась, и лишь формально, без страсти кивала. Я было подумал, что она просто начала утрачивать интерес политической сфере, но это было не так. Как-то я сидел у нее, кое-как лепя разговор, мама кивала, вздыхала, раздался телефонный звонок, она взяла трубку и просияла. «Арсений Савельевич!» Это звонил Ногин. Очень скоро я почувствовал себя совершенно лишним на этом празднике телефонной жизни.

Я уже упоминал, что между матерью и женой сложились, можно сказать, противоестественные отношения. Свекровь до такой степени отказалась от

какой либо борьбы за должность хозяйки в квартире, что поселила этим в невестке чувство доброжелательной неловкости. Ленка решала, когда и какой мы будем покупать холодильник, какие и где поклеим обои, как переставим мебель на кухне, и какой положим там линолеум, и знала, что возражений не будет никаких. За это у нее временами просыпалось желание «отслужить» старушке. Попитать ее родственным вниманием. Во-первых, она всегда правильно звала маму, Идея Алексеевна, не сбиваясь на упрощенно-народное, ни церковное именование. Во-вторых, она чаще, чем кто либо вспоминала о мамином диабете. «Да, что это вы все Идея Алексеевна хлеб с колбасой, да чай, давайте я вам гречки сварю». Мама несколько раз отказывалась под разными предложениями, однажды даже сообщила, что этой ей врач прописал такой режим питания.

– Да это только доктор убийца мог прописать вам, диабетика докторскую колбасу. Чистый крахмал.

Мама покорно вздохнула, как всегда, когда ее ловили на какой-нибудь несообразности, и сообщила правду.

– Да ты знаешь, Леночка, я ведь вкуса вообще никакого не чувствую. Только вот колбаска...

Лена с большим и вполне искренним энтузиазмом относилась к маминым гостям. Чаще других у нас оказывались дочки Аньки Кулишенко, они повыходили замуж за офицеров, и время от времени пересекали страну с запада на восток и севера на юг, вместе с мужьями и детьми. Проездом через Москву. Неврастения и гостеприимство вещи несовместные, для меня каждый такой визит был кошмаром, Лена отставляла меня как пугало в угол ситуации, чтобы не травмировать гостей, и поддерживала марку дома. О чем-то щебетала с женами, совала конфеты детишкам. Мамуля была до-вольна и благодарна, и говорила, что с женой мне повезло.

Однажды по телевизору показывали знаменитый советский фильм «В бой идут одни старики». Ленка вдруг оживилась, она тоже знала историю про давнее харьковское ухаживание Леонида Быкова за молодой артисткой Идой Шевяковой. «Поди, поди позови Идею Алексеевну, пусть с нами, как следует, посмотрит».

Я обрадовался удобному случаю навести мосток, ибо после случая с той злополучной десяткой, чувствовал, что между нами пролегла зона тягостного непонимания. Чувствуя себя почти таким же хорошим, как в тот момент, когда повел мамашу за сапогами на рынок, я привел ее в нашу комнату, к значительно лучшему телевизору, чем тот, что был у нее, удобно усадил, смотри, мол, наслаждайся.

Во все те моменты, когда на экране появлялся Леонид Быков, мы с Леной любопытствующе косились на Идею Алексеевну. Она была внимательна, серьезна, кажется, в ее лице высвечивалось нечто сверх того, что бывает просто при просмотре хорошего кино, какой-то интимный оттенок. Быков появлялся на экране все время, но по поводу того, что я высмотрел в мамином лице, я так и не смог сделать внятного вывода.

Когда все закончилось, она спросила, как называется кино. Я ответил,

внутренне прищуриваясь. Мама вздохнула, поднялась с дивана и сказала со смесью назидательности и обреченности в голосе.

– Да, сынок, сейчас такое время, что только одни старики и идут в бой, а молодежь только курит на дискотеке.

– Почему же только курит, еще и танцует, – мрачно возразил я.

– Вот-вот, а ты все шутишь, тебе все равно. А надо что-то делать.

С некоторых пор я обратил внимание, что мама полюбила прогулки. Сначала я обрадовался, все-таки не будет одна сидеть перед телевизором с куском докторской колбасы. Как водится, и в нашем доме и в соседних хватало старушек, уже давно похоронивших своих старичков, доживающих век в семействе сына, дочери, или в коммунальном одиночестве. Когда они не сплетничали на скамейке перед домом, они делали это прогуливаясь парочками асфальтовым дорожкам между домами. Вполне умиротворяющее зрелище. Я решил, что мама снизила уровень своих интеллектуальных запросов и готова поддерживать беседы о домашнем консервировании, давлении и т. п. Компания вещь великая. Но я рано обрадовался. Однажды мне понадобилось ее срочно отыскать. Не много, не мало звонила та сама харьковская Анька Кулишенко, чьи дочери залетали к нам время от времени. Чувствуя свою вину за не слишком радужное к ним отношение, я решил – исправлю впечатление о себе. Тем более настроение было подходящее, непонятно почему благодушное и даже игривое. Я сказал старинной маминной подруге, что ужасно рад ее слышать, и, конечно, же помню о ней. Мама столько о вас... Целый альбом фотографий, где они на репетиции, и на площади Дзержинского, «в таких шляпках», а с ними двое мужчин в длинных пальто и оба в очках. Один высокий, а другой... «Да, да, это Севка и Зорька». Да, слышал, мама рассказывала. А особенно мне нравятся те фотографии, где они, такие молодые дурачатся в каком-то харьковском парке, притворяются, будто собираются съесть огромные клубничины нарисованные на щитах, что стояли на клумбе. Тетя Аня хохотала, я чувствовал по голосу, что она очень довольна. «Да, были, что ж, тогда молодые, а теперь вот разные хвори-болезни. Я тебе свитер свяжу». «Спасибо».

– А где она, ну, Идочка сейчас?

Я сказал, что гуляет, «прописан моцион», но сейчас я за ней – это быстро – сбегая. Минут через десять можно будет перезвонить.

Во дворе мамы не оказалось. Значит на пруду. Он располагался сотне метров за ближайшими домами, несомненное богатство нашего микрорайона. Обведенный аккуратной асфальтовой дорожкой, обсаженный тополями, липами, где было место и для стариков, и для рыбаков и мирных собак. Пара выпивающих компаний курлыкала в собирающейся вечерней тени в тылу гаражей. Я очень быстро обошел его кругом, с каждым шагом все более удивляясь, что ни на одной из скамеек мамы не обнаруживаю. Где это она у меня «гуляет», со своими «больными ногами». Вышел на улицу Короленко, потом, на Олений Вал, заглянул в оба продуктовых магазина. Не найдя её и там, заволновался. Что это еще такое?! Но не успел впасть в панику, смотрю, вот она. Идёт по Большой Остроумовской под ручку с какой-то незнакомой мне

молодой особой. Судя всего, по направлению к дому. Вот оно, значит, в чем дело, Идея Алексеевна среди молодежи ищет себе союзников и собеседников. Всегда вокруг нее вились какие-то «хлопцы» и «девчата», всегда она старалась сбить какой-нибудь самодеятельный коллектив, заварить что-нибудь похожее на те харьковские милицейские капустники. Не хочет стареть душой Идея Алексеевна, а легче всего этого избежать, находясь рядом с подрастающим поколением. Мы с Ленкой, для нее уже пожалуй что и староваты. Особенно, я. Сорок лет, язвенная болезнь, цинизм. От капусты у меня изжога.

Я подошел вплотную к интересной паре.

– Ну, что ж ты мам меня пугаешь?! Бегаю, вот ищу, а ты...

Девушка обрадовано на меня поглядела.

– Вы кто, вы сын?

Ей ответила Идея Алексеевна, вздохнув.

– Да, это сын. – Можно было подумать, что она уже не видит во мне смысл своего существования.

– Очень хорошо, ваша мама, кажется, заблудилась. Я смотрю, аж, вы знаете, у стадиона «Знаменских», она не она, а это она. Я ее помню, она раньше часто бывала у нас в конторе.

– Я не заблудилась, – сказала мама и, высвободив руку, которую все еще сжимала девушка, пошла к дому, благо он был буквально в двух шагах.

– Спасибо большое, – кивнул я девушке, виновато разводя руками.

– Я работаю в бухгалтерии.

– Да? – Эта информация не казалась мне в этот момент очень важной. – Спасибо вам большое...

– Знаете, вы бы зашли, как-нибудь.

Я посмотрел вслед маме, как раз заворачивавшей за угол, стараясь при этом, отвечать девушки хоть сколько-нибудь заинтересованной улыбкой, хотя никак не мог все же уразуметь, что ей от меня надо.

– Конечно, я постараюсь, загляну. В бухгалтерию?

– Да. Это здесь, сразу за больницей.

– Да, да. А-а, вас как зовут.

– Это не важно.

– А, ну да. – Кивнул я, хотя предложение конторской девушки стало для меня совсем уж непонятным. – Хорошо, я загляну.

– Только поскорее, а то время идет. – Она развернулась и пошла себе обратно по Большой Остроумовской.

– До свидания, спасибо вам.

Когда я вбежал домой, мама разговаривала по телефону. Стоя, высоко подняв подбородок, как будто отвечала на какой-то официальный звонок.

– Я все, конечно, помню. Только не в этом сейчас дело. Мы не можем отвлекаться и разбрасываться. Надо собрать остатки всех сил в кулак. И терпеть. А помощи ждать неоткуда, полагайтесь только на свои силы. До свидания.

И положила трубку.

– Кто это звонил, твоя Анька?

– Да.

– А-а, а зачем ты с ней так?!

Мама грустно улыбнулась

– А как же иначе, сынок, время-то какое, иначе и нельзя. Расквасится человек, и все, пиши пропало, выпал из рядов.

– Послушай, это же Анька твоя Кулишенко, лучшая подруга, ты ведь сама...

– Ничего ты не понимаешь, – сказала мама, и зашаркала на кухню. Я догнал ее.

– погоди, ты, может быть, не понимаешь, это Анька, из Харькова.

– Сам ты из Харькова, – сказала спокойно мама, отрезая кусок колбасы. Это меня на секунду сбило, потому что я вправду родился в этом городе. Но отступить я не хотел.

– погоди!

Я бросился в ее комнату, рассчитывая на альбом со старыми фотографиями. Фото выпускного курса ХГУ, капустники в Доме милиции, поедание нарисованной клуб-ники, скетч «На старой даче», ария из оперы «Запорожец за Дунаем». Это было непостижимо, но альбом не находился. Здоровенный, тяжеленный. Потом выяснилось, что Ленка взяла его, чтобы что-то придавить.

Мама стояла в дверях комнаты, отхлебывая чай.

– Это что, обыск?

– Что ты несешь! – Рывкнул я, но тут же сообразил, что это... и продолжил вкрадчиво. – Анька, Ку-ли-шен-ко, по-дру-га. Месяц назад у нас была ее дочка, с мужем, с сыном. А, вот. – Я увидел на краю журнально-обеденного столика «Скандал в Клошмерле» и в подробностях пересказал маме всю связанную с этим названием историю. Она слушала внимательно, отхлебывала, откусывала от бутерброда, потом вдруг сказала.

– Можешь ее забрать себе. И еще вот эту.

Она поставила чашку на телевизор, полезла в шкаф, где у нее хранились запасы ниток, иголок, пуговиц – напоминание о своем портняжестве и моем портвейне – и положила по верх французского романа толстый сиреневый, в серебре том. Это был «Закон Божий».

– Забирай.

Я повертел книжки в руках.

– А что ты делала на стадионе?

Она только улыбнулась.

– Там такие ребята. У них всё впереди.

Несколько дней после этого случая прошли нормально. Мама спокойно, без каких-либо возражений выслушала мои увещевания насчет того, что ей опасно отлучаться из дому одной, она может заблудиться, не дай Бог попасть под машину. Лекарство надо регулярно принимать, иначе ведь она сама знает, что будет «кома». Этого слова мама всегда боялась, с того самого момента, как ей объявили про диабет. Она кивала, показывала флакончик с манинилом, подтверждая, что прекрасно понимает серьезность положения.

– Ты пойми, Лена весь день на работе, мне тоже иногда надо отлучаться из дому, не могу же я постоянно при тебе находиться надсморщиком.

– Я понимаю, сынок, я понимаю, – кивала она с самым искренним видом.

Но все это было лукавство и хитрость. Как только у нее появлялась возможность, она выбиралась из дому и отправляла в свои путешествия. Маршруты все время менялись, и логики никакой в них не было. Однажды я обнаружил ее в компании наших скамеечных бабок, но понял, что радоваться не надо, это случайное совпадение, просто дорожки случайно пересеклись.

Когда я её отлавливал в отдаленном дворе, она недовольно морщилась, словно я помешал какому-то важному замыслу, но подчинялась и брела покорно домой, выслушивая мои, с каждым разом все более резкие проповеди.

– Что ты со мной делаешь, я бегаю выпучив глаза, а тебя может быть, уже машина переехала. Что, мне вообще нельзя уйти из дому?! Ты пойми, у меня дела, иногда даже важные, я сижу там и трясусь, что там с моей мамочкой! Ты сама посмотри, еле ноги передвигаешь. Когда-нибудь просто свалишься в канаву, ведь все перерыто! Давай, будем вместе гулять, если хочешь, когда я дома!

Иногда мне казалось, что она меня понимает, что я, наконец, достучался до нее. Она давала мне твердые обещания, что не будет больше убредать одна. И взгляд у нее был осмысленный, и она даже рассуждала, что сама, мол, знает – это у нее склероз, вот попьет она ноотропила и все будет хорошо.

И все повторялось.

– Ну, не привязывать же тебя к батарее!

Глаза у нее вдруг наливались слезами, и она совершенно серьезно просила.

– Не привязывай меня к батарее.

Однажды я искал ее особенно долго, изматерился, обследовал гаражи, тылы магазинов, обежал стройку. Заметил почти случайно у входа в детский сад. Она стояла у входной двери, с таким видом как будто на что-то решалась. Мое появление ее страшно расстроило.

– Что ты тут делаешь? Пошли домой!

Вместо того сразу же, как всегда, подчиниться и двинуться с виноватым видом за мной, она отвернулась и буркнула.

– Мне надо туда!

– Зачем?

– Мне надо туда!

– Это детский сад! – В голове у меня что то только не мелькало, может тут болезненно извратившаяся мечта о внуке. Сколько она меня умоляла, сколько вздыхала по этому поводу. – Это детский сад. Что тебе надо в детском саду. Впала в детство?! – Я произнес последние слова с гнусоватой издевкой в голосе, в ответ мгновенно поднялась волна жгучей жалости, но раздражение, при этом, никуда не делось. Сквозь эту путаницу чувств я не сразу понял, что она мне сказала.

– Там никого от России нет, – вдруг твердо сказала она.

– Чего, чего?

– Там никого от России нет. Не проследили.

Ах, вот оно что! У меня из горла вылетел дурной смешок.

– Там что ООН, да? Наши забыли послать делегацию, да?! И ты решила своей грудью закрыть амбразуру. Ну, так открывай дверь, заходи! Чего ты ждешь. От России там никого нет, а ты тут топчешься.

– Я волнуюсь.

– Что, что?!

– Это очень ответственно.

Я оглянулся по сторонам, не видит ли кто этого гомерического эпизода.

– Мамоchка, я тебя очень прошу, пойдем отсюда. Это детский сад, – почти заскулил я.

– Сам ты детский сад. – Твердо сказала Идея Алексеевна, и в ее профиле появилось что-то отрешенное.

– Ну, хватит. – Заорал я и, схватив за предплечье, потащил за собой. Больше всего боялся, что она будет активно сопротивляться, и тогда семейная сцена примет совсем уж жуткую и позорную форму. Нет, пошла, но с таким видом, что осталась при своем мнении о смысле происходящего, и сейчас просто подчиняется грубой силе.

По дороге я еще что-то говорил, но чем дальше, тем сильнее крепло убеждение, что все мои слова вылетают у нее из того же уха, в которое влетели. Голова матери казалась чем-то темным, абсолютно непроницаемым.

Тамара Карповна сидевшая на скамейке поинтересовалась своим бессмысленно-надменным тоном, когда мы проходили мимо.

– Ну что, Идея, погуляла?

Так, заявил я жене вечером, «придется ее запирать, когда мы уходим». Поскольку оба замка во входной двери были устроены так, что их всегда можно было открыть изнутри, а ждать, когда явится слесарь и врежет такой, что можно запереть снаружи и забрать с собой ключ, времени никак не было, я утром сбегал в хозяйственный и купил там небольшой навесной замочек. Он выглядел не слишком-то надежным, но покупать настоящий, сарайный мне было стыдно. Большой замок был бы свидетельством того, что я признал маму по-настоящему рехнувшейся. Маленьким аккуратненьким замочком, я отчасти тешил свою интеллигентскость, отчасти символизировал надежду, что все еще обойдется. Временами ведь она совершенно нормальна. Как я закрывал его! Тайком, прислушиваясь, как взломщик – не спускается ли кто-нибудь сверху по лестнице, застанет меня за этим диким занятием. Мне мучительно хотелось чем-нибудь прикрыть это запорное устройство, так же, как хочется прикрыть свой срам.

Когда я бежал к метро, то мне встретилась возле почты девушка из конторы, та, что предлагала зайти к ней. Я криво улыбнулся, давая понять, что помню – между нами имеются некие отношения.

– Почему вы не заходите? – серьезно спросила она.

Ну, что я ей мог ответить, мне было очень некогда, и совершенно не до того.

– Ну-у, я...

– У вас за квартиру не плачено четыре месяца. И пеня.

Ах, вот оно в чем дело. Всеми расчетами с государством у нас занималась мама, и я настолько привык, что с этой стороны у нас все нормально... и потом, я часто видел, что она стоит у окна с очками на носу и ворошит эти жировки. Даже в голову не пришло, что после того случая с десяткой...

День этот прошел обычным порядком. Два раза я звонил домой, и мама отвечала мне спокойным голосом и вполне рассудительно. Я пытался по разговору понять, пробовала ли она уже выйти из квартиры, не обижает ли ее тот факт, что она оставлена под домашним арестом. Вроде бы все было в порядке.

В одной редакции, куда я забежал за версткой, завязался за чаем интересный разговор, что редкость, потому что интересные разговоры в редакциях завязываются обычно под водку. Речь завелась о сталинских зарубежных гостях в тридцатые годы. Фейхтвангер, Жид и т. п. Для чего они были нужны Сталину, понятно. Рупора для пропаганды за границей. А их-то что тянуло, не жирный же прием, не тщеславие, которое тешит встреча с лидером страны. Так думал один собеседник. Другой считал, что скорее, любопытство. Всякий, более-менее подлинный художник, неизбежно антибуржуазен. Он мировоззренчески задыхается в мире капитала, чистогана и прочего барыша. Он продает рукопись буржую-издателю, и страшно боится, что при этом продает незаметно и свое вдохновение. Он мечтает о мире, где не все продается за деньги. И вдруг ему сообщают, что есть целая страна, и огромная, где впервые в земной истории, построено общество, в котором не деньги во главе угла. Конечно, надо ехать смотреть, щупать. Так что симпатии западной интеллигенции к Советскому Союзу были вполне искренни. Мир безденежья в хорошем смысле, это явленное чудо. Страна Советов не столько навязывала себя, сколько была подлинно привлекательна. И не только в тридцатые, но и в пятидесятые. Я в этот момент читал роман Льюиса «Разговор в “Соборе”», и там были выведены студенты Лимского университета времен нашей оттепели, они рассуждали в частности о литературе. Один заявляет: я только что прочел «Процесс» Кафки, а другой отвечает, а я сейчас читаю «Как закалялась сталь», и все хором кричат, что Островский, конечно, намного сильнее. Кто-то объявляет, что в кинотеатре на окраине города идет советский фильм, все тут же срываются в культпоход. Просто скандал в Лиме.

После третьей чашки я почувствовал какую-то внутреннюю неловкость. Ах, да, я тут о Фейхтвангере, а там у меня мать под замком. Впрочем, если вдуматься, она имеет прямейшее отношение к этому разговору. Ленин лишь собирался расстаться с идеей денег, а моей мамуле это удалось в реальности. Когда она их презирала, то все же была от них в зависимости, а теперь, просто перестав понимать, что это такое, полностью освободилась. Кто-то утверждал, что деньги в нашем мире, некоторым образом выполняют роль Святого Духа. Проникают все, всему дают меру, принимают участие в любом деле, даже мысль извивается в магнитном поле золотого слитка. Современный человек не может существовать вне мира финансовых условностей. Фигня, могу утверждать уверенно, ибо практика критерий истины. Мой практический опыт доказывает, что даже полностью выпав из границ денежных условностей, иные

люди продолжают жить, в общем-то, человеческой жизнью. Вот моя старушка, уже четыре почти месяца не знает, как соотносится буханка хлеба с надписями на денежных бумажках. Скоро она забудет, если уже не забыла, что эти бумажки вообще имеют какое-то значение. Да, точно, я вспомнил, как она получает пенсию, что ей приносят на дом. «Пересчитайте, пересчитайте», просит ее почтальонша, а Алексеевна только загадочно улыбается. Она перестала понимать смысл этой процедуры. И что, моя мама по прежнему член семьи, избиратель, и кому-то друг-собеседник. Хотя бы товарищу Ногину.

Направляясь быстрым шагом от метро к дому, я с нехорошим, подгрязненным неуместной иронией интересом, додумывал эту мысль. Хотя и умозрительно, но я переводил свою мать в подопытный статус. Вместо того, чтобы просто жалеть ее на всю глубину открывшихся обстоятельств, я чего-то умственно измерял, сравнивал, ставил рядом с ней Фейхтвангера. Но человек что ли так устроен, что в нем автономно могут работать сразу несколько систем, и жалеющая и оценивающая. Наверно, по-хорошему, должна быть иерархия, только люди так до сих пор не договорились, кто же должен быть на вершине. Вроде бы, правильнее всего, когда наверху ум, он все устроит, даст положенное место и направление всякому естественному чувству и душевному движению. Только вот, никак не выходит.

И по поводу иронии... в тот момент, конкретно я об этом не размышлял, но не будет больше удобного места, чтобы об этом упомянуть. Зря я на нее кошусь, на иронию, отпихиваю к самому порогу. Она ведь вот отчего происходила. Я в те дни ни на одну секунду по-настоящему не верил, что мама в каком-то обозримом будущем умрёт. Только абстрактно – все смертны, значит и Идея Алексеевна смертна. В детстве ведь довольно часто просыпался, где-нибудь в бараке, общежитии и прислушивался – дышит ли? И очень отчетливо, до тошноты страшно представлял: она умерла! А вот когда ей уже было за семьдесят, с диабетом, с дурной головой, она казалась мне совершенно неотъемлемой, данной мне в постоянное присутствие. Я как животное жил абсолютно без понимания, что она очень даже легко может скончаться. И, значит, был не способен по-настоящему ее жалеть. И эта ирония была проявлением нежелания. Когда она уже рвала на ленточки свои простыни, а Ленка уже тайком хлопотала насчет места на кладбище, я все пытался вышучивать ее, когда она выкидывала что-нибудь наподобие: «там от России никого нет». Орал на неё, сердился даже, и, что самое фантастичное – обижался, когда она не сдерживала слова, которого в принципе уже не могла сдержать.

Войдя в подъезд, я испугался. Еще ничего не увидев, понял – произошло что-то чудовищное.

Мой маленький замок был сорван, меня как будто полоснуло двойной плетью, ужаса и стыда. Но у меня не было времени для чувств, я заметил, что дверь чуть приоткрыта, и из-за нее доносятся некие звуки. Явно чужие. Ограбление! Буквально накануне я смотрел по телевизору передачу, которая учила, как нужно вести себя в такой ситуации. Ни в коем случае нельзя входить внутрь, надо звать соседей, милицию, кричать «пожар»! И я осторожно потянул

на себя створку двери. В прихожей стояли две женщины. Одна пожилая, другая молодая. Обе невысокие, и без чего бы то ни было разбойного в облике. Увидев меня, они даже, кажется, смутились.

– Ой, здравствуйте. – Сказала молодая. – Извините, мы...

– Мама, ты где!? – Крикнул я через их головы в глубину квартиры.

– Вы, знаете, ту такое дело... – Молодая, явно испытывая чувство неловкости, пыталась начать объяснения. Я шумно, почти угрожающе захлопнул дверь.

За спинами женщин появился молодой мужчина, нет, парень, лет восемнадцати.

– Хорошо, что вы пришли, – с явным облегчением сказал он.

– Мама! – Крикнул я, и, почуяв, что ответа не получу, решительно шагнул внутрь, раздвигая руками непонятных женщин, рванулся внутрь. Парень сам отскочил с моей дороги. В маминой комнате никого не было. И был раскрыт старый платяной шкаф, и из него вывернуты его матерчатые внутренности. Обувь, старые простыни, по-душка без наволочки. Сумка со старыми бумажками, письмами. Все-таки наверно, воры! Я резко обернулся и схватил парня за предплечье, он виновато улыбался, явно не собираясь никак сопротивляться.

– Где она?!

– Нас попросил Арсений Васильевич....

– Какой Арсений Васильевич! Что ты несешь. Что тут происходит?!

Тут сбоку влезла в нервный наш разговор влезла молодая, и затараторила с огромной скоростью.

– Вы, конечно, извините, я не хотела, но так получилось.

– Кто вы такие?!

– Вы, знаете, это фрау Ремер.

– Какая фрау Ремер? Причем здесь фрау Ремер?!

Старушка радостно и бодро закивала седой, хорошо завитой головой, подтверждая, что она фрау Ремер, и даже выказывая радость по поводу своего здесь присутствия.

Я посмотрел на парня, на старуху, прошел по коридору, во вторую комнату, в третью, на кухню. Остановился в дверях кухни, развернулся и проревел, глядя на этих странных троих:

– Где моя мать?!

На что молоденькая девица тут же ответила.

– Мы её тоже ищем. Вот Фрау Ремер специально приехала. Специально, чтобы... у нее письмо.

– Какое еще письмо?

Наконец, я сообразил, что седая старушка – немка, а эта молодая, говорливая, при ней, наверное, переводчица. Вот она ей что-то прошептала на ухо, и старуха полезла в сумочку, и охотно извлекла на свет сложенный вдвое лист бумаги. Но тут вмешался парень.

– Нас попросил Арсений Васильевич, вы его знаете, Ногин.

– Не знаю я никакого Ногина.

– Вот посмотрите, – переводчица совала мне листок в руки, – посмотрите. Фрау Ремер получила это письмо.

Я зачем-то взял листок в руки.

– Арсений Васильевич попросил нам помочь Идее Алексеевне.

– Да, да, письмо от Идеи Алексеевны. Посмотрите, это ее рука?

Я развернул лист, и сразу узнал крупные округлые буквы маминого почерка, текст был написан не по-русски, но в почерке ошибиться было невозможно.

– Арсений Васильевич сказал, что Идею Алексеевну по ошибке заперли.

Меня мелко затошнило от этих слов.

Переводчица выхватила листок из моих рук.

– Письмо написано вроде бы по-немецки, но далеко не все слова можно понять. Только отдельные, даже меньшинство. Фрау Ремер купила тур в Москву, и попросила меня помочь ей отвезти ее, на конверте, по адресу.

– Идея Алексеевна позвонила Арсению Васильевичу, что ей срочно нужно к врачу, у нее же диабет, вы же знаете!

– Знаю.

– Это же нельзя без лекарств, может быть очень плохо. А вы забыли, и закрыли...

– Фрау Ремер хотела узнать, что же в этом письме. У нее все мысли были этим заняты. Два года. Она понимает только отдельные слова. Очень тяжелые слова, очень, даже можно сказать, нехорошие слова: «Без объявления», «фашисты», «убийцы», «го-рода и села», «огонь, кровь», «Красная армия», «смерть оккупантам!», «уничтожили!», «победа!».

– Когда мы пришли, Идея Алексеевна сказала, через дверь, что надо сломать замок, и Арсений Васильевич нам тоже сказал, что надо сломать.

Я сел на стул посреди маминой комнаты.

– Так это тот Ногин, который Ногин? Коммунист?

– Отец фрау Ремер не был фашистом, и сама фрау Ремер не была в «Гитлерюгенд». Она от всей души посылала посылку.

От всей этой словесной мути, наплавившей на меня, хотелось завывать, чтобы хоть как-то прояснить голову, я ею помотал. На глаза мне снова попался шкаф с вывернутыми внутренностями. Я вскочил и снова схватил парня за плечо.

– Меня зовут Анатолий. – Зачем-то объявил он.

– Где она?

– Идея Алексеевна? – Переспросил понятливый друг полковника Ногина.

– Да, да, Идея Алексеевна, где она?!

И тут неожиданно прорезался голос немецкой туристки не членки «Гитлерюгенда». Она оскалила слишком хорошо оснащенный зубами рот, и оттуда донеслось.

– Я, я, Иди, Иди. Гитлер капут.

– Так она в поликлинике. У врача. Я же говорил. И Сашка с ней. Петраков.

– Понятно. Слушай, ты присмотри тут, Анатолий, я побегу, хоть там и Петраков.

– Послушайте! – Крикнула мне вслед переводчица.

Я выскочил из дому. Стройности в мыслях было мало. Я нервно хрюкал от этой гомерической истории с любопытной немкой, и восхищался изворотливостью своей якобы ополоумевшей мамочки. Ну, не блестящую ли операцию провернула старушка! А полковник, может, он в сговоре со своей преемницей? Союз склеротиков. Или она его обманула напускной нормальностью?

У нас тут все близко. Через две минуты я вбежал в холл поликлиники. У кабинета эндокринолога сидела тоскливая очередь. Беглой Идеи Алексеевны среди сидящих не было. Бормоча «мне только спросить, мне только спросить», я приоткрыл дверь в кабинет – у врачебного стола сидела старуха, но чужая.

– Скажите...

– Закройте дверь!

– Я только...

– Немедленно закройте дверь!!!

Да, что я, в самом деле, ни к какому врачу она, конечно, не пошла. Рванула в поход по окрестным дворам, и это еще хорошо, если так, побегаю, отыщу. И будет ей на-стоящий амбарный замок. А если... меня передернуло от ужаса. Я представил, как она забирается в троллейбус, и тот ее везет, везет и выплевывает на какой-нибудь конечной остановке, и она стоит бродит, выпучив честные глаза в поисках зала заседаний Совета Безопасности ООН. Шайка пьяной молодежи, издевательски гогочет, отхлебывая «клинское»... Вспомнился старинный детский стыд за мать. Там тоже была молодежь, нагота. Только нагота теперь совсем другая, но стыд еще более жгучий. Есть на свете, что-нибудь более уязвимое на свете, чем одинокая, полубезумная старуха, одержимая... Кстати, почему одинокая? Где обещанный Петраков?! Надо понимать, верный ногинский нукер доверенную ему партбабульку не бросит

Я выбрал их поликлиники, остановился на берегу Стромьинки, пытаюсь сообразить, что тут надобно предпринять, и с чего начинать.

К противоположной стороне улицы выходил низким железным забором стадион имени братьев Знаменских. И что-то меня внутренне толкнуло, когда я понял, что это именно он. Стадион! Что значит, стадион? Да, да, именно стадион! Я всмотрелся, и конечно же... Рванул наперерез потоку машин. Перемахнул через оградку, выбежал на гудроновую дорожку, опоясывающую футбольное поле с изможденным газоном. И остановился. Навстречу мне двигалась целая процессия. Впереди, в центре – она, беглая мама. Одета дико – старое демисезонное пальто. С трудом переставляет ноги в растоптанных зимних войлочных ботах с расстегнутыми молниями. Пегие короткие волосенки растрепано торчат, но взгляд тверд, губы сосредоточенно сжаты. Двое молодых людей осторожно и при этом надежно держат ее под руки, на лице ни тени усмешки, а в тылу целая колонна озабоченных ребятишек и ребят в спортивной форме. Каким-то об-разом странно одетая старуха заставила их прервать тренировку, построила в колонну и увлекла за собой. И, надо же, оделась по-зимнему. Для этапа? Что она, в Казанскую тюрьму, или в светлое будущее собралась вести. Но ни одного смеющегося. Как будто эти голоногие

тинейджеры приняли планы старушки всерьез.

Подбежав, я увидел у мамы на затылке огромную багровую шишку, которую были не в состоянии скрыть редкие волосы. Поняв, что я родственник, «хлопцы» и «девчата» окружили нас и начали наперебой объяснять мне, что тут произошло. Оказывается, они «занимались», а бабушка «вдруг вышла», «подняла руки», а потом «как за-дом упадет!».

– Все, спасибо, спасибо, извините.

Я взял маму под руку, и попробовал сдвинуть с места, и удалось мне это сделать с большим трудом, как будто внутри ее тела появился твердый, тяжелый каркас. Она напряглась и всерьез сопротивлялась.

– Mamочка, пошли! – Умоляюще зашептал я ей в ухо, прикрытое потной пегой прядью. Участливое отношение окружающих к нашей идиотской семейной ситуации казалось мне временным чудом. Сейчас они опомнятся, и поймут как это смешно и позорно.

– Mamочка, пошли!

Сделали несколько шагов. Идея Алексеевна повернула голову назад, насколько позволяла заостеневшая шея, и попросила чужим голосом.

– Освободите меня, товарищи.

Спортсмены мялись на месте.

– Товарищи, на помощь! – Совершенно невообразимый, чужой, гнусный, гнусавый голос вытекал изо рта моей матери.

– Ты, что, старая сволочь, ты что задумала?! – почти беззвучно, задыхаясь от рвущегося изнутри воздуха, шептал я.

– Это сын, сын. – сказали сзади с сомнением. Наверное, мифический Петраков.

– Ха-ха-ха, – театрально усмехнулась мама, но слова эти на нее как-то подействовали, и она стала сопротивляться меньше. Мы поползли по направлению к дому. Я чувствовал, что мама все время хочет что-то сказать, но у нее просто не хватает сил, воздушный поток с хрипом гуляющий в носоглотке, не подчиняется. Уже на самом подходе к дому, она сообразила, что надо делать, чтобы добыть силы для заявления. Она остановилась.

– Ты не сын.

– Да, да, я не сын, я негодяй, я пьянь, но только пошли домой!

Скамьи у подъезда были заполнены лучше, чем трибуны Колизея во время гладиаторского боя. Все регулярный старухи, алкаши, приличный соседи, в другое время пробегающие с сумками мимо скамеек, даже фрау Ремер с переводчицей. Эти двадцать метров дались нам с мамулей нелегко. Она хрипела, кривила то ли в презрительной улыбке, то ли под действием крепнущего пареза рот, и рывками двигала ноги как каменная статуя, которую щекочат пониже спины. Я обливался потом и яростью. Не смотрел по сторонам. Все идиотические советы – «надо вызвать «скорую» – висели в поодаль, никто не смел к нам приближаться. Не стала соваться со своей немецкой правдой и интуристка. Впрочем, я думаю, она увидела достаточно, чтобы сделать выгодные для себя выводы.

Только бронированная Тамара Карповна спросила – на фоне общего

молчания ее слова прозвучали особенно громко:

– Ты что, помирать собралась... Алексеевна?

Потом постель, врачи, две недели почти полного беспамятства. В общем, все неинтересно. Суета, огромные памперсы.

А кончина была тихой и мирной. Почти всё время я сидел дома с нею один. Читал, смотрел в присмиревший, что-то бормочущий шепотом телевизор. Я специально держал его включенным, мне казалось, что мама следит за тем, что происходит на экране. И вот однажды, когда шел какой-то документальный фильм из советской жизни, и показывали веселую праздничную колонну, деревянный дурак вдруг взревел.

– ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ! День всемирной солидарности трудящихся.

Мама неожиданно улыбнулась и тихо прошептала:

– Моя Дуся приехала.

И тут же умерла.

2004

© М.М. Попов.

Фото с сайта Литературного института.